Р2
К 49

Борис
Климычев

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗЕМЛИ

Борис Климычев

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗЕМЛИ

Стихотворения и поэма

Областная детско-юношеская библиотека
024213

МОСКВА
«СОВРЕМЕННИК»
1988

Р2
К49

Рецензент *А. Медведев*

Томская областная
детская библиотека
Инв. 210563

4702010200—052
М106(03)—88 176-88
ISBN 5-270-00212-4

© Издательство «Современник», 1988.

РАЗГОВОР С ДРУГОМ

* * *

А я вернусь, ребята, в Ашхабад,
Я много лет отсутствовал, ну что же.
Я помнил все:
Дувалы,
Виноград,
С холодным тусклым солнышком под кожей.
Я помнил и гортанные слова,
Голубоватый фирюзинский камень,
Я помнил, как из-за оград
Айва
Тяжелыми грозила кулаками.
Здесь многое случилось без меня.
И созревали девочки и вишни.
И, никого ни капли не виня,
Вернувшись к вам, не буду, верно, лишним.
В конце концов, любой отъезд, уход
Таит в себе мечту вернуться снова,
И кто-нибудь уходит каждый год,
В жизнь возвращаясь деревом иль словом.

* * *

Это друзья иль враги в том повинны,
Что понапрасну подругу зову?
Что столько лет без другой половины
Я отрешенно на свете живу?
Вздрогну:
А я зачерствею, пожалуй,
Как та горбушка на полке, как раз.
В комнате — запах табачный стоялый,
Жесткие стулья и жесткий матрас.
Строки в тетрадях,
А образно — лира,
Что на ней вызвеню я в тишине?
Нет половины,
То есть полмира
Как-то не так представляется мне.
Как-то не так вижу небо и море,
Вижу не так и тайгу, и цветы,
Все половинное:
Радость и горе,
Даже — заботы,
Даже — мечты.

Скворцы

Снег шкварчал.
И дед спроворил
Не скворечник, а дворец.
Снег сошел.
Явились вскоре
Со скворчихою скворец.
День настал:
Из дырки круглой,
Из тепла и темноты,
Скворки,
Смуглые, как угли,
Разевали с криком рты.
А родители летали —
Скр-р да тен-н! —
Весь божий день.
Все птенцов своих питали.
Дед смотрел через плетень.
В день погожий
Из скворечни
Скворки выпорхнули враз.
Дед шептал:
— Оно конечно,
Есть всему свой день и час...

А под осень
Птичьи стаи
Потянулись к югу, вдаль.
Скр-р! —
Скворечница пустая.
Дед грустит, чего-то жаль.
Замела село поземка,

Все сияет белизной.
И обходит почтальонка
Избу деда стороной.

* * *

За все платить приходится на свете:
За то, что нет детей,
За то, что — дети,
За то, что некрасив
И что — красавец,
За то, что рыцарь ты
И что — мерзавец.
Кому завидовать?
Мальку?
Гиганту?
Или бездарности?
Или таланту?
Бездарность сладко ест,
Но горько плачет,
И не всегда поймешь,
Что это значит.
А слон хоть и велик —
Мышей боится.
За все
Платить приходится
Сторицей.

Кузнечный взвоз

Кто здесь бродил
Лет сто назад иль двести?
О чем теперь, Кузнечный взвоз, молчишь?
Из прошлого несет глухие вести
Скрип флюгеров
Над гребешками крыш.
Все заросло вокруг травою сорной,
Следов от кузниц не сыскать сейчас.
И только солнце
Раскаленным горном
Лежит за буераками,
Лучась.
А ведь была здесь чадная работа:
Подкова изгибалась калачом.
И предок шел к востоку
В каплях пота,
С пылающим
В окалине
Ключом!

Батеньков

В Томске в соседстве дворец да лачужка.
Ночью в два пальца свистят варнаки.
Темень. И только, как грош да полушка,
В церкви да в банке
Горят огоньки.
Старый фонарщик бидон керосина
Тащит по лестничке,—
Стало б светлей.
Батеньков вышел в проулок,—
Трясина,
Хоть у купцов — под завязку рублей.
Горбится Батеньков,
Хмурится грозно.
Горькие складки чернеют у рта:
— Что ж ты, фонарщик, выходишь так
поздно?
Темень и грязь, не видать ни черта!..
Двадцать годов в одиночке.
Не просто.
С юности — до побелевших волос.
Встал он в раздумье у Думского моста,
Им и задуман, и выстроен мост.
Много проектов.
Успеть бы поболе.
Ссылка?
Ну что же, останется след...
— Стекла, фонарщик, не чистятся, что ли?
Очень уж тусклый и мертвенный свет...

Шаги

Я злился,
Шагая по масленым шпалам:
Вот здесь бы — пошире,
А там бы — поуже.
А в общем-то был я покладистым малым:
Добро что — по шпалам,
Могло быть и хуже.
По шпалам, по шпалам
К далеким вокзалам!
Шла рядом старуха,
Тащила ребенка.
Я был беспризорником тощим и шалым,
Кололась в кармане сухая рыбешка.
Ее изловил я, завялил на случай,
Решившись на подвиг, решившись на поиск.
Я думал,
Я верил,
Я знал:
Я — везучий!
Надеялся очень:
Возьмет меня поезд.
Вагоны, вагоны меня обгоняли,
Я шел и шатался, я был малокровный.
А шпалы вовсю креозотом воняли,
А главное то, что лежали неровно!
Меж ними пространство —
То шире, то уже,
На них я ругался,
Но, в общем, без злобы.

Могло быть и хуже,
Значительно хуже.
Хоть некуда хуже,
А все же могло бы...

Баллада о сладком

В хорошем месте был построен дом,
Конфетный цех — за нашим огородом.
Из труб фабричных шел сладчайший дым,
Пропахший черной патокой и медом.
Порою пацанву пускали в цех,
Укладывать в коробки шоколадки,
И я в тот цех являлся раньше всех,
До одуренья объедался сладким.
Я был доволен:
Это вот — судьба!
Пришла война.
Не стало даже хлеба.
И ни одна фабричная труба
За нашим домом не дымила в небо.
Погиб отец мой вскоре на войне,
С родимым домом мне пришлось проститься.
За сладость ту
За прежнюю
Вдвойне
Я горечью был должен расплатиться.
С тех пор излишней сладости боюсь...

Часы

В коридорах облисполкома
Пахло как-то странно, незнакомо:
Жженым сургучом и желтым воском
И немножко — литерным киоском.
Я туда являлся спозаранку
И влезал на лестницу-стремянку,
Удивлял начальников степенных
Тем, что знал секрет часов настенных.
Я их регулировал,
Чтоб были
Те часы исправны,
Громко били,
Чтобы время правильно считали,
Чтоб не забежали, не отстали.
Секретарша чай несла морковный,
Сокрушалась:
— Мальчик малокровный...—
Пил я чай
И на часы косился:
Механизм в них сильно износился,
Маятник все взад-вперед летает,
Он минуты, он года считает.
Только б невзначай часы не стали!
Я ведь знал, что есть усталость стали,
Главная пружина б не сломалась.
До Победы, может, близко — малость.
Надо, чтоб часы исправны были,

Чтобы час Победы нам пробили.
Заклинал часы я силой взгляда.
И они старались,
Шли как надо.

Ночлег

Я ночевал в тиши средь усыпальниц,
Куда приносит предкам имярек
То плов в окружьях чашечек-печальниц,
А то особой выпечки чурек.
На древних камнях — надпись по-арабски
А смысл ее:
«Я — дома, ты — в гостях».
И — лоскутки молельные.—
По-рабски
Юлить пред вечностью
Нас заставляет страх.
Выматывался за день.
После в чайной
Из пиалы хлебал зеленый чай
И думал:
Жизнь — подарок неслучайный,
А может, все случилось невзначай?..
Домой чайханщик собирался,
К деткам,
Он извинялся:
— Надо закрывать...—
А я опять к далеким чьим-то предкам
Шагал
В соседстве грустном ночевать.

Йог

За всю войну впервые
К нам цирк приехал в город,
Такого цирка прежде
Не видывал никто:
Палатка чуть живая,
Брезент истлел, пропорот.
Повсюду дыры, латки
На этом шапито.
В афише говорилось,
Мол, на манеже — кони,
Но мерин простудился
И через день издох,
Остался в этом цирке
Один облезлый пони,
Но корма не хватало,
И был он очень плох.
Была там униформа,
Но только ради формы,
Ведь все униформисты —
Кто в куртке, кто в пальто.
И, поднимая гири,
Борец-силач Подгорный
Свалился без сознанья
Под тентом шапито.
Известно — истощенье,
Борец едва не помер.
И все же представленья
Там каждый вечер шли.
И был в программе цирка
Один шикарный номер:
Знаток индийской йоги

Мехмед Гасан-Кули.
Хоть верьте, хоть не верьте,
Он запросто в конверте
Чужую сторублевку
На части разрезал,
Обрезки бросит ловко —
И, смотришь, сторублевка
Целехонькая
Плавно
Летит в притихший зал.
С культяшками-руками
Моряк — со мною рядом,
Там — командир безногий,
А тут — слепой боец.
Невольно звал Мехмеда
Я к этим людям взглядом.
Когда же их кудесник
Заметит наконец?
Пусть отросли бы руки,
Сплясал бы пусть безногий,
Слепой солдат пускай бы
Немедленно прозрел.
Но тот Мехмед, наверно,
Попал недавно в йоги,
На инвалидов глядя,
Он грустно бритвы ел.

Томская обл. ... детская библиотека
Инв. 210563

Извинение перед конем

Возил кизяк я, глину для самана,
Шатался мерин,
В гору шел едва.
— Здесь тоже фронт,—
Твердила тетка Анна,
Наш бригадир,
Она была права.
Велела:
В гору воз толкал бы сзади,
Не норовил бы на телегу сесть...
На лбу моем от пота слиплись пряди,
Ладони от мозолей — словно жесть.
Клубами пыли дыбилась дорога,
Я задыхался, кашлял, как в дыму.
Вот сяду и проеду я немного.
А мерин? Он не скажет никому.
И в этот миг от жалости и злости
Готов я был сиреной зареветь:
Под конской кожей так ходили кости,
Что больно было на него смотреть.
Тринадцать лет мне.
Оправдаться нечем.
И в горле вроде вырастал комок.
Я вел коня на водопой под вечер,
Ну, а в глаза глядеть ему не мог.

Мой предок

Мой предок был из этих мужиков,
Чья хата — с краю.
Этим мне и дорог.
Под свист он жил и перестук подков,—
За хатою, в степях, таился ворог.
И если шел мой предок за сохой,
То на меже втыкал он в землю шашку,
Лошадник был, наездник неплохой,
А уж стрелял, так не давал промашку.
Он ни во грош не ставил жизнь свою
И никакой не добивался славы,
Жил в хате с краю,
То есть на краю
Лесов, степей и гор своей Державы.
Он шел в поход на юг и на восток,
Тореных троп себе не выбирая,
Пот отерев, передохнув чуток,
На новых землях строил хату с краю.
А я живу в иные времена,
Но сам от нетерпения сгораю:
Вскочить в седло,
Вдеть ноги в стремена,
Скакать куда-то,
Строить хату с краю!

Память

Ходил по базару, обменивал мыло
На горсточку соли, стакан варенца.
Мне многое было в ту пору не мило,
Хоть вряд ли я все понимал до конца.
Кисель из овсяной лузги продавали,
Играл на баяне безногий матрос,
И люди ему в бескозырку совали
Кто — ржавый сухарь,
Кто — пяток папирос.
Зачем он ударил о землю баяном,
Да так, что тот
Взвизгнул и сразу умолк?
Ведь не был балтиец ни капельки пьяным,
Сломал инструмент,
Ну, какой в этом толк?
В уме не вмешалось и не понималось.
Стоял я, глядел я и скорбно молчал,
У ног моих бывшая песня валялась,
И голос какой-то еще в ней звучал.
Живу я. А годы сгорают, сгорают,
И новые дни потихоньку встают.
Уже на базарах давно не играют,
Уже на базарах совсем не поют.
И песни — иные.
И горько и странно,
Когда тишина наступает,
Сквозь сон
Внезапно упавшего наземь баяна
Я слышу опять негодующий стон.

Гадание о годах

В том вагоне, в громыхавшем тамбуре,
Ото сна очнувшийся чуть свет,
Пел с надрывом я,
Как цыган в таборе:
— Где я буду через двадцать лет?! —
Кипятильник. И часы вокзальные.
Крики. Вопли. Сколько маеты!
Вон с узлами женщина печальная.
— Станция какая?
— Маянты!
— Подавай узлы, не верь в крушение,
Вот садись-ка рядом и молчи,
Верь, что в голове моей — кружение,
Увезу тебя в Магдагачи!..—
Мчались степи. Грохотало в тамбуре.
И луна за нами мчалась вслед.
Целовал. И пел, как цыган в таборе:
— Что-то будет через двадцать лет!

Годы шли. Надеялся на лучшее.
Было много дрязг и суеты.
Что же вспомнил вновь
О давнем случае,
О степном разъезде Маянты?
Где ты, счастье краткое, случайное?!
Жаль чего-то стало — хоть кричи.
Ну зачем я
Врал ей так отчаянно:
— Увезу тебя в Магдагачи?!

Разговор с другом

Иду я один
По большому проспекту зеленому.
Дурды Баймурадов,
Я помню, ты хохлился, как воробей.
Дурды!
Нынче хлещут дожди почему-то соленые
И пиво горчит,
Не пойму отчего, хоть убей!
К песчаному холмику я подойду одиноко,
Поглажу траву, словно щеку поглажу твою.
В такую жару — и тебе бы пивка
Хоть немного.
Ты слышишь?
Из кружки на холмик тихонечко лью.
Дойдет по былинкам к тебе это зелье ячменное.
Мы вместе, Дурдышка, мы вместе с тобою,
как встарь.
Ты помнишь?
В Кеши шашлыки подавали отменные,
Далеко, далеко плыла над шашлычными гарь.
Мы оба в искусство пришли
Из сиротского детства.
Какие зарубки на сердце оставила жизнь!
А дружба
От горечи — самое славное средство,
И мы дорожить им
С тобою умели, кажись?
Болезни, усталость...
Но главное — совесть не продана.
Дутара струна и трубы потускневшая медь,

Они нам даны,
Чтобы в них отзывалась нам Родина,
А вовсе не с тем
Чтоб самим на весь мир прогреметь.

6 октября 1948 г.

(Рассказ ашхабадца)

Осенний вечер.
Город от жары
Спасается в аллеях и беседках,
Шуршат фонтаны, и трещат шары,
Киями направляемые метко.
От солнца скрывшись,
Чистильщик сапог
На пол цементный сел в подвале винном.
Мальчишка черен, словно чугунок,
Он словно сам начищен гуталином.
Скатился с бочки обруч колесом,
Старик бутылки в лед сует устало.
В подвале винном цепенел, как сом,
Я в глубине,
Пока жара не спала.
В ту ночь ушли все ящерки из нор.
Но кто мог знать?
Я чувствовал томленье.
Я лег в саду.
Я помню до сих пор
Теней и веток смутное движенье.
Привиделся мне чистильщик в тиши,
Он напитал все щетки жирной ваксой
И, предлагая пыль смахнуть с души,
Поклялся взять недорого, по таксе.
Он вымогал. Он чуть в карман не лез.
Он щетками стучал по сердцу звонко.
И грохот вдруг. И чистильщик исчез.
Смешались пыль, и глина, и щебенка.
Да как же это?
Город был вчера:

Сады шумели, и фонтаны били,
Авто бежали,
И плыла жара.
И — ничего,
И — только клубы пыли.
В подвале винном под землей,
Как гном,
Остался виночерпий возле бочки,
И пахнет теплой кровью и вином,
И женщина бежит в одной сорочке.

Жара

Вон среди шелковиц ищет тени блондинка,
Щеки светятся персиковым пушком.
Я боюсь, что блондинка
Растает, как льдинка.
Сорок восемь —
На градуснике, под шитком.
По арыкам вода до кипенья нагрета!
Словно глобус,
Арбуз распороли с утра.
Красной мякотью, семенем брызгает лето.
Потихоньку в калитку течет со двора.
Хоть бы облачко в небе
Над древним Тураном [1].
Ляжет вечер компрессом на ожоги земли,
И услышишь, плескаясь в ограде под краном:
Флейта горло прочистила в парке вдали.
Это жизнь просыпается, пробует голос,
Приключенье гостей созывает к столу.
По кусочку молочно-дымящийся полюс
Распродали мороженщики на углу.
Мимолетная сладость — под небом, под нёбом
Тает,
Горькую душу мою веселя.
Здесь нельзя быть неискренним и твердолобым.
Здесь недавно тряслась, разверзалась земля.
Чувство хрупкости этой осталось навеки
И велит, словно в бешеной скачке, спешить,
Видеть лучшего друга в любом человеке,
Каждый день словно день перед смертью
Прожить.

---

[1] Туран — древнее название Туркмении. (Здесь и далее примечания автора.)

Утопаю в садах.
Звуки тонут,
Как в вате.
Духота.
Одуряющий запах цветов.
И во тьме по дворам —
Топчаны и кровати.
Я готов умереть.
Жизнь продолжить готов.

* * *

В глубокой яме я сидел порой,
Себе я говорил, что я не трушу,
И эта яма может стать горой,
Ее лишь нужно вывернуть наружу.

Перевод

Я так боюсь переводить дестан.
Переводить?
Переводить тетради.
На языке ином скрипит платан
И то иначе.
Бросьте, бога ради!
Как я сюда к себе переведу
Туркменский зной
В морозный старый город?
Как в небо вставлю южную звезду,
Когда здесь снег мне сыплется за ворот?
Старинный друг,
Туркмен Сапармурад!
Тебя не видел лет уже так двадцать.
Переводить тебя я очень рад,
Но как сквозь степи и леса пробраться?
Ну как, скажи, тебя переведу
Через Урал,
Озера,
Горы,
Реки,
Как мы весной пройдем с тобой по льду,
Когда в сосульках обвисают ветки?
А под мостом — забвенная река.
Перевожу по скользким жердкам песню.
И в караване роль проводника
Трудна и благодарна,
Как известно.

* * *

Караваны ушли.
Затерялись вдали
Караваны времен.
Поводырь златоглазый.
Там, где Ниса[1] была,
Мы находим в пыли
То серьгу,
То медаль,
То разбитые вазы.
Были страсти,
И было в подвалах вино.
Но осела гора, и повысохло русло.
Это, в сущности, было
Не так уж давно.
Что-то бродит под солнцем,
Как жаркое сусло.
И восходят сады по песчаным горбам,
И пустыню канал,
Словно меч, рассекает.
Птица стонет в ночи,
И к раскрытым губам
Дерзновенные губы огнем приникают.

---

[1] Ниса — прародительница Ашхабада. Столица древнего Парфянского государства. Разрушена землетрясением в III веке нашей эры.

Талант

За городом, за дымкой сада
Лежит и спит себе мазар[1],
Он нужен тем, кому ни злата
Уже, ни серебра не надо,
А за углом шумит базар.
Там старичок в папахе белой,
Он чуть качает головой,
Рукою жесткой и умелой
Сжимая молоточек свой.
На серебро легли узоры,
Ты разгляди в них не спеша
Окрестные холмы и горы —
Все, чем полна его душа.
Как сам Восток, такой он старый,
Такой же мудрый, как Восток.
Глядит он в сторону мазара,
Звенит негромко молоток.
Пусть от базара до мазара
Осталось дедушке — с аршин,
Он своего не предал дара,
Сидит и создает кувшин.
Пот отирая то и дело,
Кует, стучит, жару корит.
Пусть в землю зарывают тело,
Талант не будет в ней зарыт.

Мазар — кладбище *(турки.)*.

Страсть

По ущелью — дыма полоса.
Что там с треском катится меж скал?
Это, два освоив колеса,
По шоссейке мчится аксакал.
Знал ахалтекинских он коней,
Он и сам из племени теке [1],
А теперь вот,
На закате дней,
Рукоятку газа сжал в руке.
Аксакал собою грустно горд,
Едет просто так, не по делам.
Крутит колесо мотор, как черт,
Ребятишки вслед кричат:
— Салам! —
Аксакал и виду не подаст,
Что молитву шепчет на лету,
До отказа выжимая газ,
Он сигналит громко на мосту.
Может, это — грешные дела,
Он всего лишь — слабый человек.
Что ж поделать? Скорость позвала,
Он не виноват —
Такой уж век!

---

[1] У Копетдага проживает племя теке.

Ата

По проселкам арбою катились летá.
Возводились дома,
И ветшали дувалы.
...Вот бредет в Ашхабад
Каушутов Ата,
Он знакомого встретит
И спросит, бывало:
— Что в суме у собратьев моих по перу?
— Та же страсть к заседаньям,
округлым словечкам...—
Он подумает малость:
— А это к добру?
Не мешает моим тонкорунным овечкам? [1]

Там в аульной пыли, где дома — из сырца,
Где в тени шелковиц у арыка прохлада,
Где кричит верблюжонок и блеет овца,
Где на солнышке вялится кисть винограда,
Там Ата выпасал золотые слова,
Их в стада, как овец, собирал он умело.
И кружилась от ветра его голова
И, наверно от ветра,
С годами белела.
Был он с виду дайханин,
Был просто одет,
Все спешил,
Словно он уходил от погони.
Исчезал.
А потом появлялись на свет
Вдаль летящие гордо

---

[1] В Туркмении бытует пословица: «Хоть что будь, лишь бы нашим овцам не мешало».

«Туркменские кони».
Был он болен.
Друзья сокрушались — умрет,
Время память о людях мгновенно стирает.
Он, как прежде, живет,
Он — туркменский народ,
А народ
Не стареет,
Не умирает.
Как мечтал я в свои молодые года,
Чтоб рассветное чувство вовек не ветшало!
Мне бы жить так,
Как жил Каушутов Ата,
Чтоб вовек моим овцам ничто не мешало!

* * *

Трясла телега. Тихо кони ржали.
Дорога поросла густой травой.
Кузнечики прыжками поражали,
Взмывая над свинцовой головой.
И я заснул, как потонул в колодце,
Проснулся, словно вынырнул со дна.
Пролепетал: «Какое, мама, солнце...»
А мать сказала, это, мол, луна.
Чего я испугался — неизвестно,
Но с той поры мне часто снится шар,
Всплывающий в тиши над черным лесом,
Необычайный, страшный, как пожар.

* * *

Где бор у берега, где катер,
Где досок жиденький настил,
Нас порыжелый дебаркадер
Ненастной ночью приютил.
Стучали волны в корпус старый,
Спасательный качался круг,
И гулко, как внутри гитары,
Катился в трюме каждый звук.
И громом этим тяжеленным
Нам слух и мучило, и жгло,
Так,
Словно сердце всей Вселенной
Стучало рядом тяжело.

* * *

Квадрат земли растенья позабыли,
Старушка пояснила мне одна:
Здесь раньше склады соляные были,
И по сегодня почва солона.
Был здесь лабаз, иль, может, слез и пота
Теперь сквозь землю проступает соль,
Но снег на землю нынче сыплет кто-то,
Как соль на раны,
Вызывая боль.
Сто лет лишь пустота на этом месте,
Весной дожди напрасно будут лить.
Нам надо о земле подумать вместе,
Ведь страшный грех —
Вот так пересолить.

Плот

Плотью впору тут поплатиться! —
Такова на плоту уха.
Привязали к жердине птицу,
Красноперого петуха.
Чем же ты недоволен, кочет?
С бечевы не рвись, не глупи.
Ведь хозяйка твоя не хочет,
Чтобы ты утонул в Оби.
Ведь привязаны все мы в мире,
Кто к пустыням, а кто к лесам,
Кто к бунтующей водной шири,
Кто к торжественным небесам.
Ну а шкипер наш дело правит,
Прячет солнышко в бороде:
— Нам в счет жизни господь не ставит
Дни, прошедшие на воде...—
Я приветствую речи эти,
Я семь дней на плоту плыву,
Значит, лишнюю я на свете
Хоть недельку да поживу.

Танцы

Послевоенный год и сад наш сирый,
На топливо ограду унесли,
При лампе керосиновой вальсируй
На пятачке утоптанной земли.
И ситчик платьев выглядел прекрасным,
И волновала музыка — хоть плачь.
И что гитара врет,
Что врет ужасно,
Зачем шепнул мне въедливый слухач?
Зачем же в бочке меда — ложка дегтя?
Зачем же так чудила струны рвет?
Где надо мягко, он играет ногтем,
Уж лучше б я не понял, что он врет.
Фитиль чадил.
И такт летел за тактом.
Тепло и сыро было там, в саду.
И ложка дегтя забывалась как-то
И растворялась полностью в меду.
И все прошло.
Был путь по жизни длинным.
Иные танцы. Громы дискотек.
Но разве нам при лампе керосинной
Светило счастье меньшее в наш век?
Все усилитель так преувеличил
И все так изукрасил резкий свет,
Что в том и танцев нынешних отличье:
Нюансов нет и огорчений нет.

Шуя

Вот и вспомнил я сызнова Шую,
Колокольню, летящую ввысь.
В Шуе комнату снял небольшую,
Думал вновь перебеливать жизнь.
И хозяйка моя в разговоре
Постоянно срывалась на крик,
Так привыкла на ткацкой.
И вскоре
Сам к подобной манере привык.
Вот кричит она:
— Надоть жениться!
Тут невест... ну каких только нет!
— Мне — жениться?
Не хочется бриться! —
Я бездумно кричал ей в ответ.
А за Тезою в цехе фабричном,
Где я сам себя слышал едва,
Понимали меня все отлично—
По губам узнавали слова.
Только я понимал маловато,
Хоть мне было уже — тридцать три,
Но казалось, в ушах моих вата,
И я жизни кричал:
— Повтори! —
В жизни есть, как и в ткани, основа,
Есть сплетения там и уток.
Если б в Шую вернулся я снова,
Я бы там подучился чуток.

Чтоб пушинкой по ветру не мчаться,
Знать науку, иметь все права
Хоть строкой до людей докричаться
И понять по губам их слова.

Проскоково

Село Проскоковым назвали,
Смогли ж названье отыскать,
Здесь проезжали — рисковали,
Стремились с ходу проскакать.
В низине здесь не за полушку
Могли убить порой и днем,
Здесь крест, венчающий церквушку,
И тот казался кистенем.
В глуши времен остались где-то
Разбойный свист и стук копыт,
И церковка спокойно эта
Среди лугов и пашен спит.
Здесь, как за пазухой у бога,
Мне б мирно жить, грибы искать,
Но мир заполнила тревога,
Ее теперь так в мире много —
Не проскакать, не ускакать.

Певец

В Магадане так ветер морозен,
Как закружит, завьюжит, завьет!
Где-то здесь в этом городе Козин,
Понимаете, Козин живет!
Посреди керосинного чада,
Узловатых веревок с бельем
Ничего мне, бывало, не надо —
Лишь побыть с патефоном вдвоем.
Голос козинский — голос прибоя,
И калитка, и сад, и мечты.
И на выцветших старых обоях
Зацветали надеждой цветы.
Жизнь идет, как игла по спирали,
И виток свой последний завьет.
Мы, казалось, свое отыграли
И, казалось, отпели свое.
Только молодость образом странным
Возвращается, к счастью зовет,
Потому что иду Магаданом,
Где певец этот самый живет.

Желание

Какое, право, святотатство,
Когда поют, поют когда:
«Мои года, мое богатство!»
Года — богатство? Ерунда!
Сберкнижка, опыт и квартира —
Пусть все рассеется, как дым,
Пусть вновь в ремках[1] пойду по миру,
Голодным, глупым, молодым!

---

[1] Ремки (рямки) — отрепья *(обл.)*.

* * *

Есть поселок за туманом у моста,
Там сапожники сидят на каждой улочке:
Вылетают вдруг гвоздочки изо рта
И вонзаются в подошвы, словно лучики.
Вечерком дундит невидимый оркестр,
А в киношке рвется лента,
Крик:
— Сапожники! —
Босиком народ гуляет весь окрест
И к порезам прилепляет подорожники.
Ведь известно, что сапожник — без сапог,
Целый век он для других людей старается,
До своих ли тут, скажите, бедных ног,
Если обувь у клиентов
Вдрызг стирается?
Ты, сапожник, молоточком не стучи!
Разреши мои сомненья стародавние,
Быть босым меня и гордым научи,
Ведь, возможно, это —
В жизни главное!

Возвращение земли

Поэма

1

Вы спали на голом цементном полу?
Вы спали в вагоне-углярке?
На вениках спали в укромном углу
За дымным котлом в кочегарке?
Допустим. Мотает нас жизнь иногда,
И с каждым хоть раз, но бывало.
А мне вот всю жизнь о подушке мечта
Покоя никак не давала.
Прилечь, утонуть, словно в море, щекой,
Чтоб пуговки в кожу влипали,
Чтоб — глухо, щекотно, тепло и покой.
Вы стоя когда-нибудь спали?
Ах да! Ну, конечно!
Да дело не в том,
Вы знали бы, что было раньше!
Ну что я скажу тебе, томский детдом,
И женщине той, кастелянше?
Не брал я подушку!
Не брал я, не брал!
Вы видели, вы доказали?
А если и брал, меня бог покарал,—
Осталась она на вокзале.
Такой, с кобурой и в фуражечке, бог,
Порой на вокзалах их много.
Тогда уж жалеть не приходится ног.
Осталась подушка у бога.
Осталась, а я колесил по стране

Лет семь или восемь, наверно.
Житуха колесная нравилась мне,
Но спать без подушки... так скверно!
Пускай у меня ни кола ни двора,
Мура, обойдемся без шмоток.
Но сколько нащипано пуха, пера
От селезней этих да уток!
Нужна мне для счастья лишь горсть
серебра —
Зубиться в «орла или решку»,
Но скажут:
«Ни пуха тебе, ни пера»,
И чувствую в этом насмешку.
Подушки и в юрте, и в мазанке есть,
Отдельно лежат или горкой.
Мне горько конфеты-подушечки есть,
Напомнят о прошлом, и — горько.
Уже я носил на запястье часы
(Дешевле дареных, признаться).
Уже на губе пробивались усы,
Натюкало мне восемнадцать.
Тогда и была мне подушка дана,
Законно, вот правда святая,
Вручил, под расписку, ее старшина,
Егор Никодимыч Цветаев.
Подушка с ватином внутри, не ахти,
Но ляжешь — уютно, приятно.
И шепчет ватин:
«Ты на добром пути,
Не будет дороги обратно...»
Ватин...
Но впервые почувствовал я
Солидным себя и спокойным,
Ведь полк, если вдуматься,
Это — семья,
И надо ее быть достойным.

2

Ах, как я старался! Обуздывал лень,
Учил политграмоту с жаром,
Затягивал туже солдатский ремень.
И вроде старался недаром.
Как прежде, я — с левого фланга в строю,
Положено так мне, по росту,
Но если — поход, то я песню пою,
А это ведь тоже непросто.
От строя нельзя мне никак отставать,
А ходят военные ходко.
Одышку свою уже стал забывать,
Вот только мешала обмотка.
Я помню, смеялся каптер:
— Сапоги!
В минуту подъема встаете
И сорок витков вокруг каждой ноги
Со скоростью света даете...—
Эге, сапоги вокруг каждой ноги,
Эх, сколько диковин на свете!
Хоть шагом иди, хоть аллюром беги,
Витки расползаются эти.
Наступишь на эту обмотку —
И хлесь!
Виновен я, если мешает?
А мне старшина про солдатскую честь,
Про вражеский лагерь внушает.
Конечно, не мог я ответить ему,
Наряд получил бы в итоге,
Но я и сегодня никак не пойму,
Зачем пеленали мы ноги?
Ну, ладно,
На всех не хватало сапог,
Обмотки же эти — мешали,
Не будь их, шустрее шагать бы я мог

И ноги бы лучше дышали.
«Орел или решка?
Орел или ре...»
Ну взвод! Ну народ безголовый!
Ну кто же со мною сравнится в игре?!
За проигрыш платят в столовой.
А я виноват, если с самой войны
Все время под ложечкой ныло?
Отдам за еду я рубаху, штаны
И ломтик солдатского мыла.
Мне душу сосал никотинный червяк,
Был жизненный трудным экзамен.
И если щекастый идет здоровяк,
Вздохну я:
«Сыночек ты мамин!»
Ну что она видела, та шушера?
Рубала порой без приварка?
А мне вот все кажется: только вчера
Везла меня с Кешкой углярка.
Мы сели на станции дальней Зима,
В Сибири чудесненько летом,
Но там зимовать — значит
Быть без ума
Иль в толстую шубу одетым.
Пусть не было шубы, хватало ума,
В те годы был в курсе и шкетик:
Большая к зиме не нужна Колыма,
А маленький нужен Ташкентик.
Углярка.
Не жарко, да не на ветру,
Грохочет.
И хочется шкету —
Свезла бы углярка его в Бухару,
Курить не махру, а «Ракету»[1].

---

[1] «Ракета» — папиросы-гвоздики, исчезли в связи с занятостью курильщиков, а жаль...

Хрусты[1] там, на юге, гораздо хрустей,
Манты продают на базаре.
А спать? Так развалины есть крепостей,
А можно уснуть и в мазаре.
Углярка гремит, но ничо, ни черта!
Подушку бы, думку — под щеку.
И в холоде зноем дышала мечта,
Баюкала нас понемногу.
А в детстве так крепок, со слюнкою, сон!
Не слышали мы и не знали,
Что утром на станции этот вагон
На склад для погрузки загнали.
Как уголь летел, грохоча, через люк!
Как быстро вагон заполнялся!
Я выбрался еле... а Кешка, а друг
Под тоннами угля остался.
Мутило. Ах, как мы мечтали вчера
О солнце, о горстке урюка.
И что же? Могилою — угля гора
Здесь стала для верного друга.
Бежал я. И грохот звучал в голове.
Ах, кто это в спину мне дышит?!
Упал я в степи.
Пел кузнечик в траве,
Он думал: весь мир его слышит.
А мир этот... разве он слышал мой крик?
Ну что ему — я или Кешка?..
Под утро набрел я на тихий арык.
Попил. Зарыдал безутешно...

А эти, как ангелы, жили в дому,
Не спали, видать, без матросов.
Из них я завидовал лишь одному:
По слухам, окончил шесть классов.

---

[1] Хрусты — хрустящие бумажные деньги, новые и крупного достоинства.

Недавно призвался, уже — в писаря,
Хоть валенок с виду и мизер,
Но в штаб затесался, да, видно, не зря,—
Не почерк у парня, а бисер.

3

Торчали у нас вдоль купальни столбы,
Устроено было так мудро,
Что дождик из дырчатой длинной трубы
Лупил по цементу все утро.
Без мыла порой обходились тогда,
Мы просто плескались, бывало,
И, пот наш горячий смывая, вода
Поила кусты вдоль дувала[1].
А в зарослях самых в дувале — дыра,
И кто-нибудь, задом сверкая,
Наружу посмотрит и гаркнет:
— Ура!
Глядите-ка, цыпа какая!..—
Испуганный вскрик.
Простучат каблучки.
Я думал, под струями стоя:
Вы зря дешевите, друзья-шутники,
Ведь это же дело святое.
Иной, из себя уж такой Аполлон,
Заржет пошловато-игриво,
И кажется, вон и копыта, а вон
И хвост отрастает, и грива.
Обляпает грязью цветок, и — герой.
Вот так бы и плюнул в мигалки,
Ведь я любовался цветами порой,
Проросшими прямо на свалке.
Кто лазил в грязище, тому чистота
И ночью приснится, лаская.

---

[1] Дувал — глиняный забор.

Была у меня в эти годы мечта,
Но я не скажу вам какая.
Я видел, я слышал,— что вам и во сне
Кошмарном
Ни разу не снилось,
Но, к счастью, чума не пристала ко мне,
А может, в купальне отмылась.

В то лето с заочницей был я знаком,
Затем, чтобы выслать ей фото.
Позировал я перед фотоглазком
В погонах сержанта музвзвода.
Невинный обман, да и что за вина?
Потом объяснился бы просто,
Сказал бы — разжалован.
Только она
Мне пишет:
«Какого вы роста?»
А этот вопрос для меня был непрост,
В ответе я честно признался
(Не скажешь потом, мол, уменьшился рост,
Покуда я к вам собирался).
И все.
Не понравилось.
Метр шестьдесят.
А чем вы измерите душу?
Глаза на высоких дурехи косят,
Подай им не душу, а тушу.
А честно сказать, иногда мужики
Вот так же бывают убоги,
Приходят при галстуке, просят руки,
А думают больше про ноги.
О чем горевать-то?
О росте?
Мура!

Давали бы рост по заказу.
Ходили на стрельбище часто. Жара,
Но я не промазал, ни разу!
Ну что же, ну что же, что метр шестьдесят!
Ну кто упрекнет в том солдата?
Шагаешь,
На поясе диски висят,
И штык, и, на случай, граната.
И если я гири к ногам подвязал,
А сам на руках подтянулся,
То это я снова, сквалыга вокзал,
В печальный твой быт оглянулся.
Я жажду поднять себя на высоту,
Вишу меж землею и небом
До хруста костей.
Но я плохо расту,—
Я не избалован был хлебом.
Ах, в детстве бы в день да по ломтику мне,
Я рос, наливался бы соком,
И было бы больше сегодня в стране
Одним гражданином высоким.

4

Весь день нас гоняли. Так хочется спать,
Все валятся после отбоя.
Сижу я с тетрадкой,
Пытаюсь опять
Себя приподнять над собою.
Пиши не пиши, но метанья души
Словами не выразить,— мука!
Как быстро стираются карандаши!
Мигает коптилка.
Ни звука.

Ишак муэдзином кричит вдалеке.
Коптилка погасла.
Светает.
И я засыпаю с тетрадкой в руке.
И входит в землянку Цветаев.
Зачем же, тетрадку мою пролистав,
Нахмурился строгий начальник?
— Добро бы ночами учил ты устав,
Мараешь куплеты ночами,
Режим нарушаешь из-за чепухи,
Солдатское ль дело — куплеты?
— Товарищ Цветаев, но это ж стихи,
Я, может быть, выбьюсь в поэты.
Как Симонов буду писать, например...

Цветаев глядит, изумленный:
— Хватил!
Да ведь Симонов-то офицер,
Он, может, как наш батальонный?..—
Начальственно хмурится, морщит губу,
И вот уж изъята тетрадка,
А сам я на строгий режим «на губу»
Отправлен сидеть для порядка.
От многих хлопот гауптвахты засов
Меня отделил тяжеленный.
Из нескольких лет сорок восемь часов
Имею я для размышлений.
Я в жизнь, как в углярку какую-то, влез,
И словно я в поезде снова.
Под Омском морозище, в инее лес,
Но мальвами пахнет у Львова.
Да Кешке-то что?
Он уже ни при чем,
Ни холодно Кешке, ни жарко.
На буфере ноги сцепив калачом,

Тебя проклинал я, углярка.
А шпалы летели внизу без конца,
Стараясь на них не свалиться,
Пытался представить я мать и отца,
Но смутно маячили лица.
Ведь было! — заботились:
«Не упади!»
И помню, что падал, бывало.
Твердили: на улицу, мол, не ходи!
А улица так зазывала!
И я убегал и не думал о том,
Что после мне дом будет сниться,
Великое счастье, коль можешь в свой дом
Всегда со двора возвратиться.
А я-то совсем не ценил, как назло,
Уют, хоть нехитрый, но славный,
Когда этот дом отдавал мне тепло,
Прикрыв, для надежности, ставни.
И если случалось прихварывать мне,
Там были отвары, составы.
А время летело навстречу войне,
Навстречу мне мчались составы.

Разлука, разруха,
Все это — война.
Нашел же родиться я время!
Конечно, детишек жалела страна,
Но как уследить ей за всеми?
Убитые улицей!
Кто им гробы
Строгал, кто им ставил надгробья?
Так кто там, на карте Союза «грибы»
Рисуя,
Глядит исподлобья?
Ты, может быть, прав, старшина,

Что со мной
Решил обходиться построже.
В обмотках хожу я,
А шар наш земной
Обмотан, мне кажется, тоже.
Вон там,
Из-за той вон высокой горы,
Случалось мне видеть нередко —
Ночами тихонько летели шары,
И это — чужая разведка.
Какое им дело до наших вершин,
До наших провалов, к примеру?
Не сможет измерить заморский аршин
Мою убежденность и веру.
Товарищ Цветаев!
Пройду я пешком
Сквозь все Каракумы, не сдохну,
Я пули не слал еще «за молоком»,
А ночь не посплю, так не охну!
И если я крикну теперь:
Кореша! —
То все города и посады,
Вокзалы, разъезды, сбегутся, спеша
Подбодрить хоть словом, хоть взглядом.
Им, может, не в радость, что я тут сижу,
В темнице, на нарах, «на строгом»,
Они, может, верят, что я напишу
О них, о себе и о многом.

5

Покоя тайны, тайны не давали,
Ощупывать хотелось, трогать жизнь.
А жизнь фалангой пряталась в дувале,

Попробуй, дескать, рядом окажись!
Ну вот я и потрогал жизнь,
Отчасти.
Друзья засуетились...
Ералаш!
Дремучий фельдшер мне винца в санчасти
Налил во флягу.
«К госпиталю арш!»
И я побрел, покачиваясь, будто
Пьянчуга подзаборный, запиской.
И с Копетдага, скатываясь в утро,
Бежала речка горная за мной.
Пустыней и полынью пахли крики
Верблюдов и презренных ишаков.
И раскололась речка на арыки,
На тысячи скачков,
Толчков,
Звонков.
Вдали сады тихонько пили влагу
И негу изливал любой цветок.
Я задыхался.
Распечатал флягу,
Колючкой в горле набухал глоток.
Почем берешь за сладость, жизнь-старуха?
Как много стоит каждый твой глоток!
Да... на старуху тоже есть проруха,
Вон кем-то втоптан прямо в пыль цветок.
Ну, а моя тропа среди развалин,
Где раскалилась глина добела.
Здесь древний город Ниса был повален,
Разрушен в прах. А это — жизнь была.
Была, сплыла.
Под этим знойным небом
Когда-то кто-то пил и мед, и яд.
Он тоже был, а вроде как и не был,
Здесь лишь обломки портиков стоят.

А я дышу пока что.
Подфартило,
Я — не под камнем, наверху сижу.
Уж как меня ломало да крутило,
А все же вот дышу, на мир гляжу.
Но эту боль терпеть не хватит мочи.
К чему такой на свете человек?
Вон бабочка...
Ей жить всего до ночи,
И так привольно свой проводит век!
Мне пить вино и то, представьте, больно,
Хотя о нем мечтал еще вчера,
И, может быть, с меня уже довольно?
Шуршат колючки. Глина. Пыль. Жара.
Бояться смерти?
Что за наважденье?!
Ведь — разобраться — миллионы лет
Нас не было до нашего рожденья,
И мы тогда боялись разве?
Нет!
Шуршат сухие, жесткие растенья,
Из подземелья затхлостью разит.
И Кешкина фигурка — легкой тенью,
И Кешка кулачком сухим грозит:
«Я здесь под углем, у него во власти.
Здесь темнота и ничего здесь нет.
Дышать, глядеть —
Какое это счастье!
А ты ведь за меня глядишь на свет!
Но ты не стал же, в самом деле, гадом,
О чем теперь ты думаешь?
Окстись!
Ты там от всех погибших — делегатом,
Ну тяжело, а ты не дрейфь, крутись!..»
Я позабылся. Прервалась беседа.
Кусочки щебня светят как слюда,

И в туче пыли тормозит «Победа».
— Садитесь на сиденье, вот сюда!
Ну-ну, очнитесь, вы куда шагали?
— Шагал-агал... до госпиталя — мне.
А вы-то кто?
— По-русски будет Галя.
А вообще-то просто Гаяне...—
Эх, медсестра!
И лет ей... надцать, адцать...
Такая вся... Носить бы ей хитон.
Мол, надо ехать, мол, врачам сдаваться.
И — голос нежный, и — особый тон.
Везли меня сквозь заросли гледичий,
Тутовника, джиды, урюка, роз,
Сквозь красоту, сквозь вечный гомон птичий,
А я был весь как горестный вопрос.
К чему врачи?
Давно я с мыслью свыкся:
Пропало все, теперь не дорасту,
Чтоб — фетровые бурки, чтобы фикса
Сверкала ослепительно во рту,
Чтоб распирало гомонок рублями,
Чтоб центнер веса в каждом кулаке
И чтобы девы пали штабелями
И на меня глядели бы в тоске.
А я бы нежно так им:
«Ради бога,
Прошу простить невольную вину,
Но что же делать, если вас так много,
А я могу любить всего одну...»
Да нет, конечно, этим идеалам
Я изменил давно.
Не так я прост,
Ну мало ль что мечталось по вокзалам?
Но мне другой ведь недоступен рост!
К чему мне жить? Чтоб мной пренебрегали

И недомерка видели во мне?..
— Эй, тормози!..—
Не отвечала Галя,
А вообще-то — просто Гаяне.
Мы в госпитальный старый парк влетели,
Меня снесли в палатку, на кровать,
Кололи, и мололи, и вертели,
Сказали —
Будут кровь переливать.
Я даже перестал дышать от злости,
Когда в рентген загнали, в аппарат.
Зачем мои разглядывают кости?
Ведь хуже издевательств во сто крат!
Недаром жизнь суровая внушала
Большую скрытность, крепко вжился
в роль,—
Пускай давно мне болью сердце сжало,
Никто не должен знать про эту боль.
Гудит рентген. И это означает,
Что видит дядька в белом колпаке,
Как сердце бьется, кровь мою качает,
И как оно сжимается в тоске.
Он видит все. И то, как в Барнауле
Мешочник надо мной вздымал кастет,
Он знает: в прошлом челюсть мне свернули
И на ребре не зря остался след.
Пусть притворюсь я бодрым и веселым,
Не обмануть,— он видит все насквозь.
Уж лучше бы стоять на рынке голым,
Там хоть нутро бы скрыть мне удалось..

Сказали, кровь вольют девичью.
Лгали?
Но почему-то показалось мне,
Что влили кровь мне этой самой Гали,

А вообще-то — просто Гаяне.
И сразу что-то нежное такое
Боль притушило у меня в груди,
Явилось ощущение покоя,
Намек на то, что радость — впереди.
С чего — не знаю, я слезой давился,
Кому-то там молился на восток,
Чтоб каждому,
Кто жизнью отравился,
Из ампул влили нежности чуток.

6

Отнес я койку в дальний угол парка,
Уют непрочный — все равно уют.
Аул мне было видно, и не жарко,
Еще ты спишь, а петухи поют.
Я наблюдал, как топятся тамдыры[1],
Как рты, зияли огненные дыры,
Бросала тесто девочка туда
И брызгала водицей изо рта.
Пристроил кто-то гроздья на дувале,
Они тихонько, скрытно дозревали,
Как девочки аульные в садах.
В ауле время в тихих шло трудах.
Среди бахчей вдали торчала вышка,
А сторожили там — порой мальчишка,
Ну а порой — какой-нибудь старик.
К лозе полезешь — поднимают крик.

---

[1] Тамдыры — конусообразные дворовые глиняные печи. Их можно сварить хоть борщ, но испеченные в них лепешки имеют особенный аромат, который могут дать только там-

Недаром жизнь врачи в меня вдохнули,
Соображал и понял:
В знойный день
Сидящим наверху, на карауле,
Кричать легко, ну а спускаться — лень.
Я до тех пор не верил в пресыщенье
И был узнать его не слишком рад,
Я наедался дынь до отвращенья,
И в рот не лез сладчайший виноград.
«Эх! — думал я.— Неужто от избытка
Мне и любовь бы тягостью была?»
Я в тень хотел.
Какая-то калитка
Поскрипывала в зарослях, звала.
«Эх! — думал я.— Всегда калитки эти
Невесть куда нас манят невзначай,
Вот отчего все сложности на свете».
Но за калиткой пил дедуля чай.
Он золотого мне плеснул кок-чая,
Меня он слушал, головой качая,
Ведь я такую ахинею нес:
Про Кешку, про углярку, про мороз,
Про то, что кровь во мне чужая в жилах,
Что, может, яд во мне, а может, ад.
А пальцы были у меня в чернилах,
А под халатом — спрятан виноград.
— Скажите, как мне дальше жить, ага?[1]
Вы, вероятно, видели так много? —
И он ответил попросту:
— Ага,
Но каждый человек — своя дорога...—
И рассказал, что в юности в ауле
Он видел вязь арабскую на пуле,
А смысл такой:

---

[1] Ага — обращение к старшему.

Единственная я! —
Стихи,
Написанные просто для ружья.
Встречал дестаны он на сабле, на кинжале,
На самом острие, на самом жале,
И в ножнах кожаных шептал стихами нож:
«Узнав меня, проклятый враг, умрешь!»
Да что там эти сабли и ножи!
Дед рассказал, как, взяв верблюжий волос,
Скалу пилил всю жизнь один хаджи[1]
И каменная глыба раскололась.
Короче, дед изрядный был поэт,
Он мне советов не давал,
Однако
В его рассказах прятался совет —
Та самая зарытая собака.
Я поклонился, как учтивый гость,
И в прорезь госпитального халата
Лукаво глянула сияющая гроздь
Пропитанного потом винограда.
Садилось солнце где-то там, в пустыне,
А я шагал, средь роз и мальв, в долине,
Подобной юной дерзостной богине,
Которой так хотелось согрешить.
Казалось, было некуда спешить,
Но я спешил к той койке госпитальной,
Где начинался хадж,
Как в Мекку,
Дальний,
При помощи бумаги и пера.
Мне яд в крови шептал:
«Пора, пора!»

---

[1] Хаджи — человек, совершивший хадж (хождение) в Мекку и видевший там священный куб Каабы. Короче — завзятый путешественник.

Пусть разорвут меня на части черти,
Закончу труд и отошлю в конверте,
Настанет час, услышат обо мне.
Но Гаяне...
А что? И Гаяне!..

7

Вернулись с учений. Помыться пора,
Разматывать стал я обмотку.
Почтарь подбегает:
— Кричи-ка ура
Да бацай на пузе чечетку!..

Конверт!
Я таких не видал никогда,
Печать — как на новом червонце,
Здесь радуги все уместились цвета,
Он так и сияет на солнце.
Забился я в щель между двух землянух,
Печатные четкие строчки
Хочу прочитать в одиночестве вслух.
Со смаком и чувством, до точки.
«В стихах антитеза и теза видна,
И версификация — тоже,
Но вам консультация очень нужна.
Привет. Заходите. Поможем».
На подпись смотрю — не пойму ничего,
Какие-то смутные чувства.
Торчит перед подписью строчка:
«Врио
Зам. зава отдела искусства».
Случалось мне в прошлом сидеть в КПЗ,

Что, в общем, не очень приятно,
Случалось под нарами прятать НЗ,
Ну, это — запас, вам понятно.
Я знал, что мы в армии носим ХБ —
Хлопчато-бумажная форма,
Я знал, что в столовой мы просим ДБ —
Добавку, коль съедена норма.
Не выйдешь из части: сидят на КП
Дневальные, смотрят на совесть,
А если ученья — мы строим НП,
Ну, пункт наблюдательный то есть.
Случались ЧП, как прожить без того?
Не ангелы в роте, а люди.
Но что же таится под словом Врио?
И что же из этого будет?
Мечталось:
Газета, фурор, торжество,
В полку всюду ахи да охи.
Но — просто письмо
И — какой-то Врио,
Неужто дела мои плохи?
Но все-таки — вызов.
И я к старшине
Тащу и конверт, и листочек,
Такое, мол, дело, что надобно мне
В редакцию, хоть на часочек.
Читает, сопя и пыхтя, старшина,
Читает и снова, и снова,
Он тоже не понял, видать, ни хрена,
Скорее всего что — ни слова!
Но он говорит, что к шестнадцати в тир
Сегодня отправится рота,
А в двадцать ноль-ноль
Будем чистить сортир,
А после —
В ружпарке работа.

Мол, всякий Врио не указ для него,
Хоть, может, и старше по чину,
Я месяц и так сачковал, без Врио,
Мне только найти бы причину.
Я в тире стрелял, убирал я дерьмо,
В ружпарке работал до пота,
А в мыслях крутилось, вертелось письмо,—
Ведь есть в нем хорошее что-то?
Неделю, как мог, старшине угождал,
Он все-таки не из железа,
Смирился и мне увольнение дал:
— Ступай, коли там — антитеза...—
Три класса прошел он, один коридор,
По тем-то годам — достиженье!
А тут — антитеза.
Он понял: не вздор,
И к ней поимел уваженье.

...Редакции! Знаю до скрепочки вас,
Служил вам и верно, и много.
Но как трепетал, как робел я в тот раз,
Как долго стоял у порога!
Бродил коридором, смущенье скрывал,
Ведь так в кабинетах кричали:
— Петрова зарежьте и киньте в подвал,
Отбейте линейкой вначале!
Левицкого бросьте повыше в окно,
Глазкова сильней растяните.
А дамочка эта —
В корзине давно...
С Арсланова шапку снимите!..

Казалось — мокрушники там собрались,
Кого-то кончают в подвале.

Беседовать с ними? Поди объяснись,
Ведь их и поймешь-то едва ли!
Я помню отчетливо даже теперь,
Как сердце надрывно стучало,
Когда я открыл кабинетную дверь,
В нее постучавшись сначала.
Зашел.
От табачного дыма — серó.
Сутулый, высокого роста,
Мужчина в чернильницу тыкал перо.
Сказал он:
— Как видишь, непросто
Писать без воды.
Но что хуже всего —
Газетная спешка, приятель!..

Мужчина и был этим самым Врио.
Во рту пересохло — писатель!
И ромбик недаром глядит с пиджака,
И кудри на глаз ниспадают,
И чувствуешь сразу же в нем знатока,
Когда о стихах рассуждает.
Черкал мои строчки,
Шептал и кричал,
Вдруг вскакивал,
Снова садился.
Просил, умолял, обвинял, обличал,
Смеялся, грустил и сердился.
Чернильницу на пол смахнул невзначай,
Сказал — не имеет значенья.
Курил и в жестянке заваривал чай,
По-братски делился печеньем.
Ну ясно: царя Соломона мудрей!
Строчил он как из пулемета:
— Метафора! — понял ты? Ямб и хорей!
Синекдоха, символ, литота...

Ну мусор! Синекдоха!
Это же мат!
Ведь надо, придумал же кто-то!
— Исправлюсь, товарищ Врио, виноват.
Навеки запомню — литота.
— Да мало запомнить, тут надо понять,
Осмыслить, почувствовать слово,
И общую грамотность надо поднять,
Вот — синтаксис, это — основа.
Ведь можно заставить одной запятой
Звучать по-иному всю фразу...—
Я синтаксис нес вроде книги святой,
С ним раньше не знался ни разу.
Учиться?
Да лучше пилить бы дрова!
Сижу измочаленный, потный.
Пытаюсь повзводно построить слова,
А после — построить поротно.
Да лучше бы камень пилить волоском,
Чем синтаксис этот — все ночи!
Вот знак вопросительный смотрит крючком,
А вот и ряды многоточий.
Кавычки торчат наподобие фикс,
И скобка, на вид — полумесяц
И черточка есть под названьем дефис,
А может быть, правильно — дéфис?
Готов зарыдать над тетрадным листом,
Плутая в премудростях строчек.
(Не мог же я знать, что поэты потом
Начнут обходиться без точек.)
Бывало, сигнальщик с гнусавой трубой
Пройдется по тихому плацу,
Цветаев в землянку заходит:
— Отбой!
Кончай шемурой заниматься!.. —
С начальством не спорят: режим да устав,

Но я намекнул, постарался:
Когда-нибудь, книжки мои пролистав,
Поймет он, что зря придирался.

8

Должна холодами смениться жара,
Но здесь лишь названье, что холод,
Три щепочки сжег я в печурке вчера,
Поленом — натопишь весь город.
Вот так оно вышло в ту ночь в октябре,—
Мне душно в землянке, метался.
Решил, что пойду и посплю на дворе,
На плоскую крышу взобрался.
Приснитесь, пока не сыграли подъем,
Забитая чурками стайка,
Веревки с промерзшим гремящим бельем,
Тверская и речка Ушайка.
Там в лужицах хрумкал ледок в тишине,
Там в сенцах мне пятки знобило,
Там многое было,
А может быть, мне
Мерещится только, что — было?
Я думал о прошлом, о смутной судьбе,
Где сложно чего-то исправить,
И будущий мир я пытался себе
Хотя б на минуту представить.
Я к этому времени точно умру,
Но жизнь — будет каждому шкету,
Плевать они будут на эту махру,
А будут курить лишь «Ракету»!
Не хмурьтесь — шучу.
Да чего говорить! —
Жить будут устроенней, строже,
Не только что шкеты не будут курить,

Наверно — и взрослые тоже.
И будет любой шпингалет на обед
Есть первое да и второе,
И будет расти он, не зная обид,
Быстрее и вдвое, и втрое.
И будет такой подрастать молодежь:
Длиннющие ноги и руки.
Прекрасно!
Но много сукна изведешь
На курточки им да на брюки.
Ты скажешь, потомок:
Что, жалко тебе?
Да нет же! Не против я лично,
Не хватит сукна, так носите ХБ,
И дешево, да и практично.
Потомок, ты мне экономность прости,
Тебе-то так жить не случалось.
Я тоже старался повыше расти,
Да только не вдруг получалось.
С утра замеряюсь, так вроде подрос,
В довольной улыбке растаю,
А вечером —
Снова обычный мой рост,
А утром —
Опять подрастаю.
Повыше бы, к солнцу!
Но, дым распластав,
По кочкам, тайге, ледоставу
Несется без всякой дороги состав
Навстречу другому составу.
Не надо!..
Но с грохотом рухнул вагон!
И — облако пыли и дыма...
И боль под лопаткой.
И это — не сон.
Так вот оно! Всё?.. Хиросима?..

На месте, где клуб наш стоял полковой,
Лишь столбик какой-то остался,
Большой барабанище, словно живой,
Кругами катался, катался.
Братва вылезает из щелей и дыр,
А он все — кругами, кругами.
В нательном белье полковой командир
По плацу стучит сапогами.
В грязище, кровище и ссадинах он,
И дыбом торчит его волос,
Но это не важно, что он без погон,
Мы слышим —
Полковничий голос.
Ведь главное то, что команда дана,
Пусть я без минуты покойник,
Я сделаю то, что прикажет страна,
Ведет нас — товарищ полковник.
Подземный толчок —
И одни тополя
Вдоль улицы бывшей торчали.
И, может быть, это стонала земля,
А может быть, где-то кричали,
Казалось, гигантской гитары струна
Вдруг лопнула и дребезжала.
Как в фильме немом, оплывала стена
На место, где рота бежала.
Земля — словно женщина в родах:
И дрожь,
И стон ее низкий, утробный.
Наверно, никто не поставил бы грош
На нас в передряге подобной.
Коль горе как море,—
Не ищется брод,
И там, среди смрада и праха,
Я мчался частичкою роты вперед,
За жизнь я не чувствовал страха.

Скомандуют — влево,
Я влево бегу,
Скомандуют — вправо,
Я — вправо.
Я даже сквозь стену промчаться смогу,
Я лбом прошибу ее, право!
Ведь рядом со мной — командиры, друзья,
А это, скажу вам, не малость.
Я, помнится, думал о том, чтоб моя
Обмотка не размоталась.
Где жили медички, лишь балки торчат
И горы сырца и бетона.
Мы роем, кайлим, окликая девчат,—
Что проку?
Ни вздоха, ни стона.
Обломок лепнины:
Как штопор, змея —
Вокруг алебастровой чаши.
Темно.
И кирка поломалась моя.
Обмотка сползает все чаще.
Ах, нежность и свежесть носить на руках
Мне в жизни еще не случалось,
Но здесь вот, в подвале, в бетонных
тисках,
И тайна, и сказка скончалась.
Цветаев велит:
— Отдохни у костра,
Какой-то уж слишком ты пестрый.
Ты что там лопочешь?
При чем — медсестра?
Тут все, понимаешь ли, сестры...—
И дальше бежать нам команда дана.
Мы строимся.
Надо так надо.
Но гроздь винограда... Зачем же она

Раздавлена, гроздь винограда?
Бежим.
Но откуда-то слышится крик:
То ль пьяный, то ль просто калека,
Шатаясь, пенсне протирает старик,
Он просит помочь — энотека!
Не поняли.
Он объясняет:
В подклеть
Запрятаны вина в кувшинах,
И винам нельзя постареть, заболеть,
В них ценность огромная, в винах.
Ханыги пускай бурдомагу сосут,
А здесь — вина прошлого века,
А здесь-то при паспорте каждый сосуд,
Вот это и есть — энотека!
— Ты спятил, старик?
Развалились дома,
Лежат под обломками люди!..—
И вправду он, кажется, съехал с ума,
Шептал он, что время в сосуде.
Не просто — букеты, не просто — тона,
Сосуды налиты любовью...
Мы дальше рванули.
Несло от вина
Не спиртом, но, кажется, кровью.

Немало живых мы той ночью спасли,
Остывших достали немало.
Я был весь в поту, но в чаду и пыли
Пенсне старика мне блистало,
Вот ты — винодел, сотворивший вино,
Какое же надо терпенье,
Коль будет раскрыто, распито оно,
Наверно, в ином поколенье.
И сам ты помрешь, и соседи помрут,

Увы, в неизвестности полной
О том, как поймут и оценят твой труд,
Добром или злом тебя вспомнят.
Зачем же тогда ты у нас на пути
В дыму, словно призрак, метался
И вовсе не жизнь свою думал спасти,
А вина спасти ты пытался?
А может быть, в этом и смысла полно,—
Мы все как закваска живая,
И тысячи лет,
Без конца,
Как вино,
Должны мы бродить, дозревая.

9

А дембеля[1] обычно дышат носом,
Истертыми подметками пыля,
А дембеля все грезят —
Кто покосом,
Кто тропкой, убегающей в поля.
Конец тревогам, марш-броскам, ученьям,
Их путь — к вокзалу, стало быть, домой,
К невестам сдобным, пирогам, печеньям.
Но где тот дом,
Который был бы мой?
Прощайте, гарнизонные ворота!
Прощай, дневальный хмурый на КП!..
Я видел смутно, как садилась рота
В большой вагон телячий, как в купе.
Глядел Цветаев из вагона, кроткий,

[1] Дембеля — демобилизованные.

Как будто не был строгим старшиной.
Ему махнул я выцветшей пилоткой
И повернулся к поезду спиной,
Ну а лицом —
К какой-то жизни новой.
Еще не знал, где буду ночевать,
Хоть в прошлом был я человек бедовый,—
Я ж не цыган, чтоб вечно кочевать?
Я думал так:
Хоть полюс, хоть экватор,
Хоть преисподня, разве дело в том?
Пусть даже — извергающийся кратер,
Но где-то у меня быть должен дом?
Еще убитых клали в «студебеккер»
И разбирали кирпичей завал,
Но всем, с машин военных, каждый вечер
Консервы некто в белом раздавал.
Я ночевал в кустарниках у трассы,
Консервы ел.
Казалось, был я нищ.
Но вскоре подвезли сюда матрасы,
Бесплатно,
Всем,
Матрасов — двадцать тыщ!
Я пару взял,
Я обманул немного,
Сказал — семья, хоть был без таковой.
Но если разобраться в этом строго,
Я окупил матрасы те с лихвой.
Меня страна не обучала в вузах,
Не брал я ссуд и не попал под суд,
Служил, как штык. Матрасов — полный кузов,
Так пусть меня от холода спасут!
А вскоре Крезом стал я настоящим:
Достал бесплатных примусов пять штук.
Дом сколотил — большой фанерный ящик,

Но все — чин чином — дверь, окошко, крюк.
Ну что еще? Ведь нет нужды в одежде,—
Мне армия оставила ХБ.
Вот жаль, подушек не было, как прежде,
Не завезли... Такой пробел в судьбе.
Как хорошо вот так отгородиться,
Лежу, мечтаю, думаю, пишу.
Комфорт! Как будто не успел родиться,
Еще в утробе матери лежу.
А что до книг, то я добыл однажды,
Руины разбирал не так давно.
Вино бы вырыть, умирал от жажды,
А вырыл книги. Было их полно.
В грязи, известке, глине — переплеты,
Страницы — рвань, но все же взял я том
И, возвратившись вечером с работы,
Всю ночь читал.
А дело было в том,
Что, скажем, вот всю жизнь ношу я брюки,
Но я б не знал без книги той вовек,
Что дал названье брюкам город Брюгге,
Что прячется в гречихе слово — грек.
Я много вырыл книг.
Дурил прораба:
Матрену я матроной величал,
Не матерился больше, но «Карамба!»
По-книжному, культурненько кричал.
Копал все глубже.
Даже если с коркой
Оторвано полкниги, все равно
Землей страницы пахли сладко-горькой,
И это было лучше, чем вино.
Была весна,
Но я в домишке тесном
По вечерам, свой примус запалив,
Читал, грустил о чем-то неизвестном

И горстью ел сушеный чернослив.
Ну что с того, что напишу стихи я?
Где взять напев, чтобы насквозь пронзил?
Когда дома здесь рушила стихия,
Меня старик с дутаром поразил.
Живем не розно, только плачем разно,
Иной слезами, а иной — гульбой,
Он песней плакал. Это же прекрасно,
Не хватит слез, так есть дутар с собой!
Смогу ли так? В себя теряю веру.
Но помню:
Опершись на костыли,
В то утро люди к Ленинскому скверу,
Как сговорившись,
Шли,
Брели,
Ползли.
Ведь получилось как-то,
Как нарочно:
Хоть все вокруг разрушились дома,
Но памятник стоял, как прежде, прочно,
Стоял, как правда сущая сама!
И митинг сам собою получился,
Никто его на пленку не снимал.
Я там чему-то важному учился,
Тут — не кино, я это понимал.
Эх, детство! Луч протянется к экрану,
А ты от нетерпения дрожишь,
Бежит боец, зажав ладошкой рану,
А кажется — ты это сам бежишь.
Ты, ночевавший где-нибудь под лавкой,
Ты, тело расчесавший до корост,
Становишься Чапаевым и Павкой
И вырастаешь чуть ли не до звезд.
Но здесь вот
В ночь, когда валились зданья,

Впервые было мне понять дано,
Как много надо, чтобы в испытанье
Я устоял,
Ведь это — не кино.
Коль рядом гибель, хаос, это сложно —
В себе все человечье соблюсти,
Я здесь впервые осознал, возможно,
Как тяжко и мучительно — расти!

И вот — и ни подъема, ни отбоя,
И старшина любой — не старшина,
В кармане удовольствие любое,—
Хоть шпарь в бильярд,
Хоть шляйся допоздна.
И никаких обмоток, но — штиблеты,
Скрипучие, на кожаном ходу.
Ах, как в садах безумствовало лето!
А я, бывало, вновь домой иду.
Когда листва зажарится на ветках,
Расплавятся бетонки от жары,
Потеет город, прячется в беседках,
И в лузы, ширкнув, юркают шары.
Да, юркнешь тут, когда вода в стакане
В минуту превращается в пары.
Но есть народ, что даже на вулкане
Готов играть, готов гонять шары.
Зовет игра шагами ширкать бодро.
Ах это полушарье, этот шар!
Маячат бедра, льются пота ведра.
Зовет игра.
Шаром по шару — шпарь!
Шаром зашарить!
Зашарашить шаром!
Зашуровать!
Зашариться!
Шарах!

Всех ошарашить!..
Только жалко даром
Мне обращать свои минуты в прах.
И обувь новую занашивать негоже
Тому, кто был полжизни босяком,
Мне собственной своей не жалко кожи,
Решил ходить почаще босиком.
Нас от земли подметки отделили,
Полезно быть босым денек, другой,
Чтоб камешек дорожный среди пыли
Вдруг ощутить, ощупать вдруг ногой.
Читал, мечтал. К арыку брел с графином,
Чесал затылок, думал:
В чем же суть?
Я был как будто Гекельберри Финном
И вместе — Томом Сойером чуть-чуть.
Как весело!
Как озорно!
И мне бы
Писать бы так, чтобы сквозь слезы — смех.
Мы все порой поем под зимним небом,
Да только дивный голос не у всех.
И все, конечно, мы боимся смерти,
Я сам не исключенье, признаюсь,
Но я боюсь не так, как трус, поверьте,
Я весело, я озорно боюсь,
Как Гек, как Том.
Да если бы не юмор
И не колючки сладкие его,
То я уже давным-давно бы умер
И не боялся б больше ничего.

10

Так бесконечно долго длилось лето,
Сто двадцать пять конвертиков всего

Ушло в газету.
Не было ответа,
Мне почему-то не писал Врио.
Редакция ютилась во времянке,
Из форток — дым, курили, знать, табак,
И возле входа — с кашицей жестянки,
Для сирых, обездомевших собак.
Зайти туда мне гордость не давала:
Ну, не хотят печатать, так чего?
Я думал. Я следил из-за дувала:
Видать, уехал иль погиб Врио.
Но вообще я ж сам себе хозяин,
И папиросы я теперь курю —
Полметра ровно курим, два — бросаем.
Я это вам серьезно говорю!
Штиблетики обую, эх, скрипите!
И оттисками новеньких подошв
Вы, как печатью гербовой, скрепите
Аллеи, по которым ходит дождь.
Штиблетики...
Вот так топорщит перья
Перед огромной птицей воробей.
Похож на литератора? Не верю,
Бодрюсь, а вот не верю, хоть убей.
В газете все — из «университута».
С залысинами, словно старики,
Пусть шторм любой вздымает волны круто,
Но стариков поднимут «поплавки».
А я-то чем могу похвастать?
Дулей?
Чтоб был во мне какой-то интерес,
Достал значок, изображен там улей,
Есть подпись: «Пчеловодческий конгресс».
А что? Не мед ли ямбы да хореи?
Пчела летит к цветку, а я к стихам.
А если так, в редакцию — скорее!

Но не зашел.
Отправился в духан.
И ночь была. И тополя качались,
И как песчинок было в небе звезд.
По закуточкам парочки встречались,
За мной под утро увязался пес.
Блестя во тьме огромными клыками,
Он думал обо мне примерно так:
«Мерзавец, пахнет хлебом, шашлыками
И бродит здесь, смущая нас, собак...»
Да, стыдно быть таким благоуханным,
Когда других судьба — в бараний рог.
А в сквере перед временным духаном,
Как скорпион, мотался костерок.
А возле — тип, лохматый, вроде зверя,
Как в малярии дергало его.
Он ждал, страдал, поглядывал на двери.
Я отшатнулся, вдруг узнав Врио!
Так, словно рядом разорвалась бомба,
И оглушен я был и поражен:
Он поседел, ни пиджака, ни ромба,
Глаза блуждали, был ужасен он.
Лопочет что-то — не поймешь ни слова,
Лишь, как немтырь, натужно тянет:
— М-мы-ы! —
Я попросил, чтоб объяснился снова,
И наконец-то разобрал:
— Взаймы!

Он пил из горла. Просыпал горошек,
Твердил, чтоб я орнамент плел в душе,
Не то она уйдет в одну из кошек,
Которых лепят из папье-маше.
Сказал ему о том, что озадачен
Давно я странным титулом: Врио.
Он пояснил: замзавом он назначен

Лишь временно, вот только и всего.
Он сделал вид, что занят был намазом,
Заплакав вдруг:
«Все временно, мой друг!»
Кусочек хлеба был икрой намазан,
Но он не съел, а выронил из рук.
Я подобрал. Собакам пригодится.
Врио хрипел. Просил еще вина.
Мол, жизнь из смерти на земле родится,
И, мол, зовет теперь его жена.
...Она была на службе,
Там, в больнице,
В тот самый час,
В тот самый миг,
В ту ночь.
Какой-то новой жизни появиться
Она как раз должна была помочь.
Меж бытием и смертью мостик тонок,
И нет жены, и роженицы нет.
Но чудом новоявленный ребенок
Остался жить, дышать, глядеть на свет...
Врио дивился:
Где мы с ним, в сарае?
Он пьян? Пускай! Какая в том беда?
Он заявил, что все мы, умирая,
Должны рожать, затем чтоб жить всегда.
Потом он завопил: «Салам алейкум!»
Я взял поллитру у него из рук,
На воздух вывел.
Шли мы по аллейкам,
И все казалось временным вокруг.
Фанера, жесть, сырец,— везде времянки,
Жилье в них, и больницы, и суды.
Немного тряпок, чуть воды в жестянке,
Чуть-чуть еды, и до краев — беды.
«Словно в тени бегущего джейрана

Я отдохнул»,— сказал про жизнь мудрец.
И трещина в земле зияла раной,
Напоминая: есть всему конец.
И временности этой ощущенье
Как будто подсказало всем тогда
К недоброте, к неправде отвращенье,
Жила в землянке каждой доброта.
Никто не лез вперед другого к кассе,
Не нужен был для совести безмен.
Врио бездомный. Пусть же на матрасе
В моем дому заснет он, как джентльмен.

11

Он ночь храпел, как пассажир транзитный,
Ногами, как повешенный, сучил.
А утром листик карточки визитной,
Достав из брюк, зачем-то мне вручил.
Шрифт золотой, торжественно-округлый
Наполовину вытерся уже,
Я все же разобрал: «Авдей Двууглый.
Искусствовед. Писатель. Член ОЗ»[1].
Да мог ли я когда мечтать о чести
С таким вот жить под крышею одной?!
Тряпье.
Фанера.
Чашки мятой жести.
Но он не гордый, только заводной.
Ни теснота, ни жидкий суп без мяса
Его ничуть не огорчали, но,
Бывало, он от возмущенья трясся,
Когда крутили фильм дрянной в кино.
Ну что с того, что живописец местный

[1] ОЗ — общество «Знание».

Красоток на клеенках малевал?
Но он назвал его дельцом бесчестным
И даже на клеенки наплевал.
Бывало, ночь, луна среди урючин
И синевою залиты дворы.
Тревогой непонятной он измучен,
Все говорит о том, как ткут ковры.
Так, узелок бы в узелок вдевая,
Создать бы мир особенный такой,
Чтобы, в узоре каждом оживая,
Гармония внушала нам покой.
Не понимал я этих церемоний,
Невольно носом начинал клевать,
Не до ковров тебе, не до гармоний,
Когда назавтра в шесть утра вставать.
Я шел с работы, еле волочился.
У дома головой мотал Авдей.
Я думал, что кошмар какой случился,
Хрипел Авдей:
— Не верь, не верь в людей!..—
Все было просто: он пропил матрасы,
Я понимал — их больше не найду,
Прошла лафа, когда вон там, у трассы,
Давали нам бесплатную еду.
Ну что теперь?
Корить его я ринусь
И говорить различные слова?
Я промолчал.
Затем исчез мой примус,
Потом — еще, их стало только два.
«Ну,— думаю,— все алкоголь проклятый,
Двух примусов нам — под завязку, во!»
На пятый день пропал и примус пятый,
И стало мне обидно за Врио.
Стесняюсь бить людей, а может, трушу,—
Я видел раз базарный самосуд.

Я бить не стал, я тряс его, как грушу
В год урожайный сборщики трясут.
Мол, затрясу! Ведь это я, не кто-то,
Армейской каши слопал три котла.
А он мне толковал про Дунса Скотта,
Номинализм и прочие дела.
Но что-то в нем поутряслось.
Бывало,
Он по ночам над книгами корпел,
А вечерами, сидя у дувала,
Качался, словно маятник, и пел:
— Мой белый виноград, все косточки под кожей,
Как галечки на дне под паранджой воды,
Мой черный виноград, ты с косточками тоже,
Но их не разглядеть. Джаным ахыр болды[1].
Мой черный виноград, настанет скоро осень,
Мой белый виноград, не миновать беды.
Зачем проходит все? Кого об этом спросим?
И кто ответит нам? Джаным ахыр болды...—
Конец душе. Удушье. И, наверно,
Отдушина — в участье.
Даже в том,
Что не тебе единственному скверно,
Кому-то также дышится с трудом.
Мне тоже душно. Только я не трушу,
Пускай пройду и прорасту травой,
Но я хотел бы, выдыхая душу,
С ней выдохнуть сумбурный образ свой.
Ведь и во мне там плавится, как в горне,
Томится и бунтует, как в плену.
Авдей сказал, что саксаула корни
Двенадцать метров под землей в длину.
Ну, ладно, пусть! Но если бы верблюда
Тащили сквозь игольное ушко,

---

[1] Джаным ахыр болды — конец моей душе (*туркм.*).

То это было б не такое чудо,
Как если бы я стал писать легко.
Весной ветра мне примус задували,
Без сна, бывало, сутками терпю,
И каждой ночью кто-то на дувале
Писал известкой крупное: «Люблю!»
Завидно мне такое вдохновенье,
Которому известка лишь нужна,
Но, видно, в чаше моего терпенья
Дыра пробита, да и не одна.
— Смотри, Врио! — Я двор полил из шланга.

Нагрел арыки до кипенья зной,
Раскалена фанерная времянка,
И пахнет клеем, смолкою лесной.
Вот мы уселись, головами свесясь,
Закрючив ноги на манер пашей,
И вот арбузной корки полумесяц
Щекочет нежно около ушей.
— Арбуз — большая ягода такая?
Ты ври, Врио, но аккуратней ври!
Смотри: друг друга вежливо толкая,
Сидят рядами семечки внутри.
Вот плюну я, и семена вот эти
Сгниют, засохнут там, где упадут.
Они, Врио, как брошенные дети,
Ну не за грош поганый пропадут.
А ведь они за жизнью все в погоне,
Им стать бы плетью, листиком, плодом.
А я, Врио, цемент швырял в вагоне,
Так долго кашлять мне пришлось потом.
Но я запомню твой намек про корни.
Потрескались такыры[1] от жары,
Как чьи-то губы,

[1] Такыры — глинистые площадки в пустыне

Но росток упорный
Вцепился в жизнь и терпит до поры.
Он корчится, томимый страшной жаждой,
На волосок от смерти, от беды.
Но, может, в жизни раз обязан каждый
Хотеть воды, но не иметь воды.
Тому, кто долго пить хотел, услада
Не та бутыль с вином в ведерке льда,
Не тот шербет из слив и винограда,
Но из колодца затхлого вода.
И если встретишь гиблое растенье,
Не проходи. Хоть капля доброты —
И, может быть, на месте запустенья
Однажды вспыхнут чистые цветы...—
Авдей в молчанье речь прослушал эту,
Сжимал он семя влажное в горсти.
Сказал, что дверь откроет мне в газету,
Он хоть Врио, но все же там в чести.
Но чтоб я знал — могу там уколоться
И синяков наставить об углы.
Работать там — копать тоннель колодца,
Как роют их туркмены в глубь скалы.

12

Поспешный, странный быт редакционный,
Нервозный тик машинки «Мерседес»,
Буфет с пивком, с печенкой порционной,
Плакат: «Кто плохо пишет, плохо ест».
Когда идешь в редакцию газеты,
То знай, что там последний фотокор
Мечтал попасть в писатели, в поэты,
Ошибка, что не стал им до сих пор.
И в ящике, где баночка варенья,
Где очерк, не дописанный вчера,
Рассказы прячет он, стихотворенья,

Убитые напрасно вечера.
Он прячет их, порой над ними плачет,
Поскольку в уксус перешло вино,
А может, там вода была, и, значит,
Вином ей стать и не было дано.
Но так ли, этак, он привык к газете,
Где терпко пахнет краской пестрый лист,
Где беготня, где обо всем на свете,
Наверно, знает каждый журналист.
Когда его заметочку петитом
Внизу страницы где-то наберут,
Он ест свою котлетку с аппетитом,
Благословляя свой нелегкий труд.
Конечно, он мечтает — крупным шрифтом
И где-то на странице наверху.
То недоспит, а то бежит небритым,
В пальто на рыбьем голеньком меху.
Вторгаться в жизнь строкой —
Не радость разве?!
В своем упорстве разве он не прав?
Любой поэт, известно, равен князю,
И даже графоман — почти что граф.
А я-то был без ромбика, без стажа.
Кто я для них? — На двух ногах курьез.
Я мелким был и для петита даже.
Меня не сразу приняли всерьез.
Я был им интересен не стихами,
Не тем, что я неплохо рисовал,
А тем, что я когда-то потрохами
В вагонной бывшей жизни рисковал.
— Как сапоги зовутся? Прохарями?
— А ножик как? Пером? Вот это да!..—
А я весь обложился словарями,
Я только так и мог писать тогда.
Шутили, дескать, укажи в анкете:
Читаю и пишу со словарем.

Но не сердился я на шутки эти
И не глядел на «графов» январем.
Звучали чудно: кичка, качка, кочка,
От слов иных кружилась голова,
И если складно складывалась строчка,
Я был готов расцеловать слова.
Есть радость в строках, даже и в помарках,
Я слово «просо» с «прозой» ставлю в ряд.
Как славно пахнет этот клей на марках!
Как щеки от волнения горят!
Участвовать не стал я в пикировках,
Пускай язвит приятель и острит,
Но это он же там, в командировках,
Давным-давно нажил себе гастрит,
Но это он в статьях своих разгромных
Бесчеловечность, подлость обличал,
Ведь это он порой в иных приемных
Пороги обивал, весь день торчал.
И вот впервые — «корочки» и фото,
Командировка.
И со мной — Врио.
— Ну как тебе? Не пыльная работа?
Да оботрешься, право, ничего!..—
Мы ехали на ве́ликах пустыней,
Шипел песчаный крокодил — варан,
Вдали гиена лакомилась дыней,
И в курдюке таскал свой жир баран.
По холодку мы мчались синей ранью,
И я Врио был в рот глядеть готов:
Всех ящериц и змей он знал названья
И всех кустов, деревьев и цветов.
Откуда связь с землею этой древней?
Сказал Врио, что часто ночью он
Все бредит, грезит призрачной деревней
И видит все один и тот же сон.
Вот бородач, соху забыв на пашне,

Стыдобу прикрывая армяком,
Пошел к мечте
И хлебороб вчерашний,
Хоть и в лаптях, стал просто босяком.
Ах, как дымили парохода трубы!
Но путь в страну Лимонию непрост.
И с палуб в Каспий сбрасывали трупы,
Молился поп, и матом крыл матрос.
И враз мечта усохла и поблекла,
Когда верблюжьей побрели тропой.
Недаром поп болтал про ад, про пекло.
Вот пекло-то! Скорей бы водопой!
Спешил, песок лаптями загребая,
Но, оказалось, здесь закон таков:
Вода в халате спрятана у бая,
Бурдюк воды — две горсти медяков.
Он сплюнул аж: об этом знал я разве?
В России хоть бесплатная вода!
В трахоме вся, в пендинской желтой язве,
Его валила, не свалив, беда.
Вот так пустил здесь корни род Двууглых,
Природные по крови русаки
Детей плодили от рожденья смуглых,
Как в русской печке в копоти горшки.
Авдей закончил:
— Я здесь — лист на ветке,
Моя обетованная страна,
В земле кремнистой этой — мои предки.
А также, понимаешь ли, жена...—
Так мчались мы.
И с каждым днем дороже
Мне становился этот знойный край.
Я чувствовал, что сам смуглею тоже,
Ведь здесь хоть целый год ты загорай!
Пускай чернею, солнце жварит щедро,
Пускай! Побольше б записей в блокнот.

А что чернею,— превратись хоть в негра,
Никто тебя у нас не упрекнет.
Мы так нередко в точку попадали,
Приезжих узнавая со спины:
«С вокзала только?»
«Как вы угадали?»
«Да тело-то нездешней белизны!»
Заезжих модниц жаль: страдают даром,
Зимой загар исчезнет без следа,
А здесь народ рождается с загаром,
И бронзовым, и ровным, навсегда.
Свои здесь звуки, запахи и краски,
Свой привкус у сомнений и надежд,
Свои в долинах горных бродят сказки,
Особый нрав здесь и покрой одежд.
Ну где еще вы видели девичий,
Подобный шлему головной убор?
Не с амазонок ли пошел обычай
Да так и существует до сих пор?
С годами зной сквозь кожу проникает,
И если праздник майский и гульба,
Здесь и на русской девушке сверкает
Убор туркменский и шишак-гупба [1].
Позванивают нежно:
Дззики-дззики,
И в такт шагам тихонько:
Теннгли-данн,—
И на руках — браслеты-билезики,
И украшенье на груди — дагдан.
Звенит дутар, он как гортанный голос,
И кто там россиянки — отличи,
Узнать поможет разве русый волос,

---

[1] Гупба — шишак из серебра или другого металла, украшенный чеканкой, подвесками, туркменский девичий праздничный головной убор.

Мелькнувший в хороводе средь арчи.
И смесь из слов — туркменских, русских,
разных,
Но одинаков нашей крови цвет.
Здесь каждый праздник —
Единенья праздник,
Зовет любой вас дворик на обед.
Столы накрыты, поданы напитки.
Когда б не знал я, что такое честь,
То каждый день во все б ходил кибитки,
Туркмен всегда вас пригласит поесть.
Пусть у него всего одна лепешка,
А на лепешку эту — десять ртов,
Но он всегда для гостя хоть немножко
От той лепешки отломить готов.
У них не грех любому поучиться,
Особо тем, кто с жизнью не знаком,
Меня учила жизнь не мелочиться
То добротой, а то и кулаком.

13

— В честь Сорейи сочиню рубайи,
Брови ее — как буква элиф [1],
Пара миндалин — глаза Сорейи,
Солнцеподобный и мудрый халиф.
Пальцы на струнах — как пять скакунов,
В кубок персидские вина налив,
Перенесемся в оазисы снов,
Солнцеподобный и мудрый халиф.
Каждой строкою славлю твой род,
Знаю, меня за напев похвалив,
Мне изумрудов насыплешь ты в рот,
Солнцеподобный и мудрый халиф...—

[1] Элиф — арабская буква, похожая на выгнутые дугами брови.

Хоть голос мой такой, как у верблюдов,
Но я считал, что в пенье преуспел.
Я пел про эту горстку изумрудов,
Когда писал, когда дежурил — пел.
Ах эти ночи в дебрях типографий,
Где запах краски, оттиски клише,
На полках — кучи старых фотографий,
И клонит в сон, и смутно на душе.
Черкаешь в гранках. Что это? Помарка?
Прочтешь — и сам чернил своих синей:
«Здесь получила каждая доярка
От каждой овцематки пять свиней...»
Наборщицы.
Придумали же способ
Меня проверить — сплю или не сплю,
А я не сплю. Но я такая особь,
Что я всегда над гранками соплю.
И я, чтобы уменьшить грусть мою,
Опять пою себе,
Пою:
— Ветер срывает цветы с алычи,
Ветер несет лепесточки со слив,
А Сорейя — словно роза в ночи,
Солнцеподобный и мудрый халиф.
Все мы летим за неясным лучом,
Бабочка, крылья о свечи спалив,
Может уже не жалеть ни о чем,
Солнцеподобный и мудрый халиф.
В землю во тьме зарывается крот,
Чайка за солнцем летит сквозь залив,
Горсть изумрудов насыплет мне в рот
Солнцеподобный и мудрый халиф!..

А что не петь? Я стал, как говорится,
Маэстро, метром, все сменили тон.

Я выверну карман — передовица,
Я выкурю «Дукат» — и фельетон.
Я поднатужусь — триста строчек в номер!
Всю писанину за год взять — тома.
Сам удивлялся, как еще не помер,
Не сбег в пустыню, не сошел с ума.
Но чтобы — изумруды в рот? Едва ли,
Пускай бы просто гривенники в рот.
Эх! И халифы разные бывали:
Тот наградит, а тот — наоборот.
Был наш редактор желтым, как олифа,
От многих тягот желчь в нем разлилась.
Я пел при нем недаром про халифа,—
Стихи бы тиснул, ведь имеет власть.
Он на стихи смотрел без одобренья,
Он возвращал их с тихим стоном мне.
Балладу стал писать про удобренья
Я по ночам на крыше при луне.
И вот машины множили балладу,
Не то взлетел я, а не то упал.
В редакции шумели:
— Он баланду,
Баланду он, баланду накропал!..
Зато редактор, хоть и был зануда,
Сказал мне одобрения слова,
Он не насыпал в рот мне изумруда,
Но выдал мне талоны на дрова.
Привозят их обычно из аула,
И кто с дровами этими знаком,
Тот знает: древесину саксаула
Не рубят, но ломают молотком.
(Увы и ах! Весьма знакомый метод,
Я в жизни дров немало наломал,
Но мне простится грех невольный этот,
Ведь я был мал и мало понимал.)

Зима зиме здесь разница большая,
Здесь зиму, как мессию, долго ждешь.
Наметится вдруг тучка, обещая
Не знаю что, возможно, даже дождь.
Но, одуревший от стихов и прозы,
Цветник увидишь при ларьке пивном,
Зима зимой, но пунцовеют розы,
Политые и пивом, и вином.
Но иногда... в два года раз, не чаще,
Из тучи вдруг повалится снежок,
Губами схватишь: колкий, настоящий,
Он на ладони тает, как ожог.
Хоть редко, но случается такое,
Что небеса вдруг высветлит мороз,
И снимет он невидимой рукою
Все лепестки со здешних нежных роз.
И вмиг цена на топливо взовьется.
«Тепла, тепла!» — взывает каждый кров.
И на базаре стоит три червонца
«Адын ишак хороший самый дров»[1].
Хочу тепла! Хочу всегда на свете —
Хотя б вязанку, хоть «адын ишак!»
Тепла хочу, в жестянщике, в поэте,
Хочу тепла! Но дело — ни на шаг.
Ах, сколько раз просил тепла я втуне,
Порой вопить хотелось: «Караул!»
«Тепла! Тепла!» — кричал в сердцах фортуне.
И вот редактор выдал саксаул.
Не орденом я вроде награждался,
Не грамотой, какое торжество?
Но дело было в том, что так нуждался

---

[1] Точная мера. В Сибири говорят, мол, в машине пять кубов; уложишь в поленницы — и четырех нет. Предлагаю измерять дрова с азиатской точностью: «Адын ишак дров, два ишак дров...» и так далее.

В тепле в те дни морозные Врио.
Он был Врио, а время и пространство,
Согласно всем гипотезам его,
Наверно, не имеют постоянства,
И значит, вечно быть нельзя Врио.
В делах подобных был Авдей педантом,
И он решил податься в сторожа.
Он мог бы стать хотя бы консультантом,
Но жил, литературой дорожа.
Припомнил я тогда не без печали
Иную жизнь, армейский опыт свой.
Меня там очень часто назначали
На пост у той купальни полковой.
Там лишь цистерна для воды и ведра,
Зимою ночи — вечности длинней,
Но не дремал я, караулил бодро:
Потом доверят что-то поважней!
Ну а Врио? Ну где он нюхал порох?
Ему ль носить ружье с кривым стволом
И до рассвета слушать каждый шорох,
Раздавшийся внезапно за углом?
Он словно слез в подвал с высокой крыши,
Так почему при этом говорит,
Что, может, стал теперь намного выше?!
И думал я в смятении: мудрит!..

14

В том январе захолодало крепко,
И по ночам, при свете крупных звезд,
Авдей, в плаще брезентовом и кепке,
С музеем рядом занимал свой пост.
Ученый, прочим сторожам неровня,
Но даже будки нет там на дворе.
Совсем не зря пришла со мной жаровня
К музею из духана на заре.

Свой след на случай я облил духами,
Духанщикам шуметь зазря не след,—
Хоть я и взял жаровню в том духане,
Но я не там хотел оставить след.
Когда звезда блестела в стылой луже,
Снежинка трепыхалась, как звезда,
Нам чайник на костре журчал о дружбе,
С ней в мире веселее нам всегда.
Ну как оставить одного Авдея
В *пустом дворе, где ночью тишина,*
Где он порою слышит, холодея,—
Из-под развалин вновь зовет жена.
А в понедельник — выходной в музее,—
Ворота на запоре, нет людей,
И я один хожу себе, глазею,
Авдей откроет залы все:
«Владей!»
Вот амфора, а донышко отбито,
Случился, видно, в древности дебош,
От вечности едва-едва отпито,
Ее не убывает ни на грош.
Но все же вы поаккуратней пейте,
И если сами обожгли горшки,
Их, в помутненье, вдребезги не бейте,
Потомкам оставляя черепки.
Гуляйте, но имейте все же совесть:
Нельзя запрятать целый мир в карман,
Ведь жизнь травинки каждой —
Это повесть,
Ведь жизнь любой козявочки —
Роман!
Проходит все, но вечен зов нетленный,—
Вдруг отразившись в зеркале ручья,
Себя увидеть капелькой Вселенной
И выдохнуть тихонько:
«Это я!»

Какая мудрость в падающей шишке,
В ложащихся на землю семенах...
Но я отвлекся. Были там деньжишки,
Ходившие в далеких временах.
Давно позеленели деньги эти,
А основатель Парфии Аршак
Был так небрежно выбит на монете!
Но в профиль видно — вылитый Маршак.
На вид добряк, в семье не без урода,—
Ведь все же царь, ведь что ни говори,
Во все века, всегда за счет народа
На спецпайке сидели все цари.
Не уважаю тех, кто любит льготы.
Хоть глаз один, но так смотрел Аршак,
Что я невольно был задет:
— Чего ты?
Чего ты так уставился, ишак?! —
Он сразу сник. А может, так казалось,
Он жил давно, дремучие дела.
Возможно, и его душа терзалась,
Любовь, возможно, горькая была.
Возможно, что с детьми была разлука,
Возможно все.
А с виду он не злой.
Не злой, не злой, а все-таки из лука
В кого-то там он целится стрелой?
Возможно, просто целит по мишени,
Возможно, состязанье было, спорт,
Дуэль, возможно, или же сраженье?
Возможно...
Сколько можно? Что за черт?!
Кусочек бронзы, не кусочек брынзы,
Какой в нем прок? Былой эпохи тень.
Но иногда нас мучают капризы,
Я толковал с монетой целый день.
Хоть там таблички: мол, не брать руками,

Я эту драхму в зубы даже брал.
Чуть кисловата, отдает веками
И чем-то там еще, не разобрал.
А после я под краном руки вымыл,
Еще прополоскал немного рот.
Конечно, драхма — это только символ,
Но царь есть царь, он угнетал народ.
Он — паразит, он мог рабыню высечь,
Порой на караваны нападал.
Но сжечь в секунды восемьдесят тысяч?! —
Такого и во сне он не видал.
Он не мечтал полмира в катакомбы
При помощи урана превратить,
Он, хоть и гад, совсем не знал про бомбы,—
За давностью и суд бы мог простить.
Вот так вникал я в древние культуры.
«Бери, владей!» — мне повторял Авдей.
Однажды мы прошли в раздел скульптуры,
Я глянул и задохся, обалдел.
Я их узнал! Тогда, в командировке,
Я гнал к аулу свой велосипед,
Расплавился асфальт, я гнал по бровке
И, словно ниппель сорванный, сипел.
Едва домчал, свалился, задыхаюсь,
Уже одышка, хоть и молодой.
А в шелковичных дебрях тихий хауз[1]
Светил зеленоватою водой.
Текли к нему текиночки нагие,
Парная их влекла к себе вода,
Сочилось солнце сквозь соски тугие,
Да так, что я зажмурился тогда.
Мол, сплю, и все, а то они такие —
Поднимут визг, так будут тут дела.

---

[1] Хауз — водоем.

Я впрямь уснул, но и во сне нагие
К воде спускались юные тела.
В них солнце пело и лучами било,
И не было греха в них и стыда,
Извечное и тайное в них было,
То, что должно быть на земле всегда.
И вот,
В музее,
Я подумал:
Ах мы!
Какой мы, люди, суетный народ!
Нужны нам вещи, и нужны нам драхмы,
На самом деле — все наоборот.
Ведь купленной любви цена — копейка,
И чтоб от смерти откупиться — фиг.
Глядишь, и где ты, жирная индейка,
Дворец, где было много груш и фиг.
Горшки разбиты.
Но былого чувства
Волненье, и тревогу, и тепло
Из-под земли открытое искусство
К нам донесло. Не все, но донесло.
Здесь билась мысль. Но чья? о чем? какая?
Нет, он не просто украшал дворец,
Все лишнее от камня отсекая,
О многом думал, видимо, творец.
Он жил как мы, и было все на свете:
Огонь и кровь, война, и казнь, и плен,
Униженные старики и дети,
И страх, и крах, и боль, и прах, и тлен.
До нашей эры и до нашей веры
Он в камне этот образ высекал,
И были поиск, риск и чувство меры.
А что искал?
Быть может, нас искал?

15

В горах за Ашхабадом есть местечко
С названием веселым — Фирюза.
Орешник, виноград, платаны, речка,
Посмотришь — разбегаются глаза.
Там — персик вам покажет щеку, рдея,
А там вон — в листьях прячется гранат.
В последний раз,
Чтоб навестить Авдея,
Приехал я туда в пансионат.
Крутился персонал как в карусели:
Прогноз тревожный — обещали сель[1].
Ушли мы в сад, в беседке дальней сели,
Чихали мы на эту карусель!
Авдей был опечален,
Темен,
Болен,
От жизненных согнулся неудач.
Он знал, что я в судьбе своей не волен:
Сибирский климат прописал мне врач.
Пусть долго, долго жизнь меня носила
Из края в край по всей большой стране,
Но в то, что есть целительная сила
В родных местах,
Ну как не верить мне?
Так много мы хотели в этот вечер
Сказать друг другу в тишине в горах.
Авдей мне что-то толковал о встрече,
Вполне возможной там, в иных мирах.
Пыль под луной на тропках — словно пудра,
Цеплялись за вершины облака.
Авдей Двууглый говорил так мудро,
Что даже было жаль его слегка.

---

[1] Сель — грязевой поток, иногда сносит дома и целые селения

Ему виднее, очень он ученый,
Я знал, что жéсток мир, порой — жестóк,
И потчуют водой некипяченой
На станциях, где надпись: «Кипяток».
И я, белье менявший по сортирам,
Латавший свое платье по дворам,
Не слишком доверяю «черным дырам»,
Пришельцам звездным и антимирам.
Шаги по жизни трудно нам давались,
Война или стихия обожгла.
Сердца недаром с ритма посбивались,
Мешают им то пепел, то зола.
Надавит тьма свинцовая на веки,
Ты встань,
Шагни,
Хоть шаг один всего!
Считаю главным —
Веру в человеке
В тот факт, что он на свете — не Врио!

16

Ну где же тот маленький смуглый солдат,
На юге служивший когда-то?
Письмом меня вызвали в Запсибиздат,
Добрался едва до издата.
И надо — обратно.
Все было б — трава,
И ехать-то вроде недолго,
Но страшно пугают такие слова,
Как «поезд», «вагонная полка».
Да разве в купе там подушки дают?
Такие — мышонку под ушки,
Моей голове нынче нужен уют.
Вот дома, так с гору подушки!

Все было и сплыло,— такие места,
Где нары мозолил я боком.
Но хочется очень дожить мне до ста...
До ста-
Рости, хоть не глубокой.
Пускай одиночество, ночество, но
Подушками все же разжился.
Брошюркой издать обещают давно,
Лет пять уже...
Снег закружился.
Снежинки, как звездочки те, что порой
Предшествуют маленькой главке.
Не стужа, но хуже — ветрище сырой.
В вокзале подремлем на лавке.
Ничо! Батареи, и там — горячо.
«Му-мур»,— скажет пар, словно кошка.
Ну чо это? Чо?
Чья рука — на плечо?!
Милиция!
Смыться!
В окошко!
Испуга старинного привкус во рту.
Но чо это? Чо это? Я же
Давно все законы инструкции чту,
Я сам охраняю их даже.
Не бьющий, поскольку давно инвалид,
Не пьющий, поскольку печенка болит,
Лощеный и модносдёжный,
Ну, в общем, пристойный, надежный.
Пускай уберет свою лапу с плеча,
А коль не захочет — схлопочет.
Хочу непечатно сказать сгоряча.
И вижу...
Цветаев хохочет.
Гражданский костюмчик, в висках — седина,
Обрюзгший, морщинистый, жирный.

Рефлексы кричат:
— Пред тобой — старшина,
Подняться немедленно! Смир-рна! —
Но я отвечаю рефлексам:
— Молчать! —
Я, может, комдива главнее:
В кармане — билет, в том билете — печать,
Г. Маркова подпись под нею.
Нас, членов СП, десять тысяч в стране,
А этих старшин — не сочтете.
Не встану. Пускай козыряет он мне,
Как я козырял ему в роте!..
Я так и не встал, сделал вид, что устал,
И галстук поправил: мол, ясно?
Он рядом присел, он таблетки глотал,
Хрипел, его мучила астма.
Он сядет в простой, я — в купейный вагон.
Забылись давнишние стычки.
Сутулит он плечи... А вдруг от погон
Проступят там крестиком лычки?!
Да нет, ничего
В нем от прежних манер,
Ну ни на понюх, не осталось.
— Эх, паря, твой ротный-то — пенсионер,
Два шага пройду — и усталость.
Есть дом возле Бийска, есть внуки. Живу.
Вот, ездил в Минводы лечиться.
Когда возвращался, заехал в Москву,
Раз в жизни, но — побыл в столице.
А ты бригадир или выше, ведь так?
Вон вширь-то насколько раздался!
А тощенький был, и лайдак, и чудак,—
Писателем стать собирался.
И знаешь, я верил, держал в голове
Все то, что наплел ты об этом,
Начальнице в главной читальне в Москве

Шумнул, что служил я с поэтом.
Мол, книги его поищи, посмотри,
Подсунул с орехом ириски.
И что же?
Дементьевых два или три,
А ты там не значишься в списке...
Ну что я скажу? Объяснить нелегко.
Сослаться на козни, интриги?
Назвался коровой — давай молоко,
Ну, то есть солидные книги.
А нет таковых — так сопи и молчи.
Мой поезд. И мы попрощались.

Крутился я долго на полке в ночи,
В окошке созвездья вращались.
Ну, нет меня!
Ну, не оставил я след!
Кто время мне дал для элегий?
Давно я в кармане ношу партбилет,
А он не дает привилегий.
И не фигуральная боль, а вполне
Реальная смолоду крепла.
Спроси я, так справку бы выдали мне,—
Под сердце насыпано пепла.
Но я по-иному себя понимал,
Сдыхал, но пахал я, как трактор,
И, словно суставы, мне строки ломал
Суровый районный редактор.
Я первым на Север попал нефтяной,
Глотал валидол в вертолете,
И строки вот эти могли бы со мной
Навек там остаться в болоте.
Встречался ли вам с костылями атлант,
Которого кушает мошка?
Я, может быть, взял и зарыл здесь талант,
Чтоб выросла... просто картошка.

Так вышло, Цветаев,
Далёко живу,
Забот было разных до черта.
Свезти бы мне рукопись лично в Москву,
Но только мешает аорта,
Расширилось сердце — толкуют врачи,
Да, столько вместило,— понятно.
Порою в ночи заболит, хоть кричи,
Вместило,— не вынуть обратно.
Цветаев!
Хорошим ты был старшиной,
Будил ты нещадно нас утром.
Как строгая няня,
Следил ты за мной,
Отцом был суровым и мудрым.
Следил, чтоб одежда была бы, еда,
Чтоб на турнике я вращался,
И даже меня отпускал иногда
В редакцию, чтоб просвещался.

Знал холод я в жизни, страдал от жары
И в поезде, помню, однажды
От самого Орска до Бухары
Метался и плакал от жажды
Участья.
Но все же средь станций, песков,
Базаров, племен и наречий,
Средь прошлых и будущих многих веков
В дороге мне выпали встречи.
Вот — Кешка. Двенадцати не было лет,
А он исполнял «Гоп со смыком»,
А он отзывался на кличку «Шкилет»,
Он вместе со мной горе мыкал.
Одежда была не одежда, а швы,
В заплату — заплаточка вшита,
А в швах этих прятались хитрые вши,

Они ведь кусаются, вши-то!
Пред этим парнишкой огромен мой долг:
Живу за него я на свете.
Поэзия — чудо. Но разве мой слог
Ругали в районной газете?
Не сдюжил под тяжестью горя Авдей,
Тем более: долг мой и счастье —
Его воскресить, да и многих людей,
В которых нашел я участье.
Легко ли мне жить в неоплатном долгу?
Ведь я-то, скажу вам без позы,
Когда очень надо, и в рифму — могу,
Ну, розы, допустим, и слезы.
Учился я походя, я бы сказал,
Из тысячи аудиторий
Запомнился душный Ташкентский вокзал,
Там столько познал я историй!
Забудется все.
Но однажды в ночи
Вновь гул я подземный услышу,
Увижу трепещущий листик арчи,
Товарного поезда крышу.
Росинка — к росинке,
Вернется сполна
Давно пережитое — снова.
Есть ягода — в тридцать три года одна
Поспеть на кусте глухоманном должна.
Так,
Исподволь,
Зреет и слово.

СОДЕРЖАНИЕ

Разговор с другом

«А я вернусь, ребята, в Ашхабад...» 3
«Это друзья иль враги в том повинны...» . . . 4
Скворцы 5
«За все платить приходится на свете...» . . . 7
Кузнечный взвоз 8
Батеньков 9
Шаги 10
Баллада о сладком 12
Часы 13
Ночлег 15
Йог 16
Извинение перед конем 18
Мой предок 19
Память 20
Гадание о годах 21
Разговор с другом 22
6 октября 1948 г. 24
Жара 26
«В глубокой яме я сидел порой...» 28
Перевод 29
«Караваны ушли...» 30
Талант 31
Страсть 32
Ата 33
«Трясла телега. Тихо кони ржали...» 35
«Где бор у берега, где катер...» 36
«Квадрат земли растенья позабыли...» 37
Плот 38

Танцы 39
Шуя 40
Проскоково 42
Певец 43
Желание 44
«Есть поселок за туманом у моста...» 45

Возвращение земли. *Поэма* 46

Борис Николаевич Климычев

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗЕМЛИ

Стихотворения и поэма

Редактор Т. Никологорская
Художник Н. Заводнова
Художественный редактор В. Покатов
Технический редактор Н. Ганина
Корректоры В. Дробышева, Н. Володина

Климычев Б. Н.

К 49 Возвращение земли: Стихотворения и поэма.— М.: Современник, 1988.— 109 с.— (Новинки «Современника»).

Сердцевина поэтического сборника Бориса Климычева — поэма «Возвращение земли». Она насыщена драматизмом, живо рисует человеческие характеры, естественно и гибко связывает моменты биографии с историческими фактами. Поэма рассказывает о трагических днях землетрясения в Ашхабаде, где прошла солдатская юность сибиряка, где сделал он первые шаги как журналист и писатель и где обрел свою настоящую «малую родину», с детства обездоленный войной. Дополняет поэму лирика. В ней — воспоминания о детстве, зарисовки старинного Томска, благодарность друзьям, живым и ушедшим.

К $\frac{4702010200-}{М106(03)-88}$ 176-88

ББК84Р7
Р2

ISBN 5-270-00212-4

55 коп.